

Альфонс Доде

Сафо



Annotation

«На настойчивые вопросы египтянки итальянский дудочник отвечал с наивностью его нежной молодости, с радостью и облегчением южанина, долго просидевшего молча. Чужой среди этого мира художников, скульпторов, разлученный при входе с другом, привезшим его на бал, он два часа томился, ходил в толпе, привлекая к себе внимание своим красивым лицом, с золотистым загаром, с белокурыми вьющимися волосами, короткими, густыми, как завитки на бараньей шкуре его костюма; успех, которого он и не подозревал, рос вокруг него, возбуждая шепот.

Его то и дело толкали танцоры, молодые живописцы высмеивали и его волынку, которую он неловко держал в руке, и его старое платье горца, казавшееся тяжелым и неуклюжим в эту летнюю ночь. Японка, с глазами, выдававшими девушку из предместья, со стальными кинжалами, поддерживавшими её взбитый шиньон, напевала ему, выводя его из терпения: «Ах, как хорош, как хорош наш маленький почтальон!..» меж тем как молодая испанка, в белых, шелковых кружевах, проходя под руку с вождем апашей, настойчиво совала ему в нос свой букет из белых жасминов...»

-
- [Альфонс Додэ](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)

- [Глава 15](#)



Альфонс Додэ
Сафо

* * *

Глава 1

– Ну, взгляните же на меня... Мне нравится цвет ваших глаз... Как вас зовут?

– Жан.

– Просто Жан?

– Жан Госсен.

– Вы – южанин, это слышно по говору... А сколько вам лет?

– Двадцать один год.

– Художник?

– Нет сударыня.

– Неужели! Тем лучше!

Этими отрывочными фразами, едва слышными среди криков, смеха и звуков музыки, под которую танцевали на маскированном балу, обменивались в июньскую ночь, в оранжерее, переполненной пальмами и древовидными папоротниками и занимавшей глубину мастерской Дешелетта, египтянка и итальянский дудочник.

На настойчивые вопросы египтянки итальянский дудочник отвечал с наивностью его нежной молодости, с радостью и облегчением южанина, долго просидевшего молча. Чужой среди этого мира художников, скульпторов, разлученный при входе с другом, привезшим его на бал, он два часа томился, ходил в толпе, привлекая к себе внимание своим красивым лицом, с золотистым загаром, с белокурыми выющимися волосами, короткими, густыми, как завитки на бараньей шкуре его костюма; успех, которого он и не подозревал, рос вокруг него, возбуждая шепот.

Его то и дело толкали танцоры, молодые живописцы высмеивали и его волынку, которую он неловко держал в руке, и его старое платье горца, казавшееся тяжелым и неуклюжим в эту летнюю ночь. Японка, с глазами, выдававшими девушку из предместья, со стальными кинжалами, поддерживавшими её взбитый шиньон, напевала ему, выводя его из терпения: «Ах, как хорош, как хорош наш маленький почтальон!..» меж тем как молодая испанка, в белых, шелковых кружевах, проходя под руку с вождем апашей, настойчиво совала ему в нос свой букет из белых жасминов.

Он ничего не понимал в этих заигрываниях, считал себя крайне смешным, и укрывался в прохладной тени стеклянной галереи, где в зелени

стоял широкий диван. Вслед за ним вошла и села с ним рядом эта женщина.

Была ли она молода, красива? Он не сумел бы этого сказать... Из длинного, голубого, шерстяного хитона, в котором колыхался её стан, виднелись руки, тонкие, округлые, обнаженные до плеч; крошечные пальчики, унизанные кольцами, серые, широко открытые глаза, казавшиеся еще больше от причудливых металлических украшений, ниспадавших ей на лоб, – сливались в одно гармоничное целое.

Актриса, без сомнения... Их немало бывает у Дешелетта... Мысль эта не обрадовала его, так как такого рода женщин он особенно боялся. Она говорила подсев совсем близко, облокотясь на колено и подперев рукой голову, говорила нежным, серьезным, несколько утомленным голосом...

– Вы в самом деле с юга? откуда же у вас такие светлые волосы?.. Это прямо необыкновенно!

Она спрашивала, давно ли он живет в Париже, труден ли консульский экзамен, к которому он готовился, много ли у него знакомых, и каким образом очутился он на вечере у Дешелетта, на улице Ром, так далеко от своего Латинского квартала.

Когда он назвал фамилию студента, который провел его (Гурнери, родственник писателя, она наверное его знает...), выражение её лица вдруг изменилось и померкло. Он не обратил на это внимания, будучи в том возрасте, когда глаза блестят, ничего не видя. Ла Гурнери пообещал ему, что на вечере, будет его двоюродный брат, и что он познакомит его с ним. Я так люблю его стихи... Я был бы так счастлив с ним познакомиться...

Она улыбнулась, пожалев его за его наивность, красиво повела плечами, раздвигая рукою легкие листья бамбука, и взглянула в залу, словно ища его великого человека.

Праздник, в эту минуту, блистал и гудел как апофеоз феерии. Мастерская, или вернее огромный, центральный зал, так как в ней никто не работал, занимала всю вышину особняка; она сверкала светлой, легкой обивкой, тонкими соломенными или кисейными занавесками, лакированными ширмами, цветными стеклами и кустом желтых роз, украшавшим высокий камин в стиле Возрождения, отражая причудливый и разнообразный свет бесчисленных китайских, персидских, мавританских и японских фонариков, то ажурных с овальными, как двери мечети арками, то склеенных из цветной бумаги и похожих на плоды, то развернутых в виде веера, то причудливой формы цветов, ибисов, змей; время от времени внезапные потоки электрического света, быстрые и голубоватые, как молний, заставляли бледнеть все тысячи огней и заливали лунным сиянием

лица и обнаженные плечи, фантазмагорию тканей, перьев, блесок и лент, сливавшихся в одно целое в бальной зале, поднимавшихся по голландской лестнице, ведущей на галерею первого этажа, из-за широких перил которой виднелись ручки контрабасов и отчаянно мелькала дирижерская палочка.

Молодой человек видел все это со своего места, сквозь сетку зеленых ветвей и цветущих лиан, сливавшихся с этой картиной, обрамлявших ее, и в силу оптического обмана то бросавших гирлянды глициний на серебристый трон какой-нибудь принцессы, то украшавших листком драцены личико пастушки в стиле помпадур; теперь зрелище это приобретало в его глазах особенный интерес, оттого что египтянка называла ему фамилии, по большей части известные и знаменитые, скрывавшиеся под этими забавными и фантастическими масками.

Этот псарь с коротким бичем через плечо, – Ждэн; немного дальше – поношенная ряса деревенского священника скрывала старика Изабэ, придавшего себе росту, с помощью колоды карт, подложенной в башмаки с пряжками. Коро улыбался из под огромного козырька фуражки инвалида. Она указала ему также Томаса Кутюра, наряженного бульдогом, Жента, одетого тюремным смотрителем, Шама, наряженного экзотической птицей.

Несколько серьезных исторических костюмов, – Мюрат, в шляпе с пером, принц Евгений, Карл I, – в которые были наряжены самые юные художники, подчеркивали разницу между двумя поколениями артистов; самые молодые были серьезны, холодны, с лицами биржевых дельцов, старых от морщин, проводимых денежными заботами; другие же были более шаловливы, шумливы, разнузданы.

Невзирая на свои пятьдесят пять лет и на Академические пальмы, скульптор Каудаль, одетый гусаром, с обнаженными руками, с геркулесовскими мускулами, с палитрой живописца, болтавшейся вместо шашки у его длинных ног, откалывал «соло» эпохи *grande chaumière*, перед композитором Де Поттер, наряженным подгулявшим муэдзином, в тюрбане, съехавшем на бок, и подражавшим пляске живота, выкрикивая тонким голосом: «Ла Аллах, иль Аллах».

Эти веселящиеся знаменитости были окружены широким кругом отдохавших танцоров; в первом ряду стоял Дешелетт, хозяин дома щуря маленькие глазки, под высокой персидской шапкой с калмыцким носом с седеющей бородкой, радуясь веселью других, и веселясь сам без памяти, хотя и не давая это заметить.

Инженер Дешелетт, видное лицо в художественном Париже десять-двенадцать лет тому назад, – добрый, очень богатый, проявлявший свободные артистические вкусы, и презрение к общественному мнению,

которое дается путешествиями и холостой жизнью, участвовал в то время в постройке железнодорожной линии из Тавриза в Тегеран; ежегодно, в виде отдыха, после десяти месяцев утомления, после ночей, проведенных в палатке, лихорадочных переездов по пескам и болотам, – приезжал он проводить лето в этом доме на улице Рима, выстроенном по его рисункам, и меблированном, как летний дворец; здесь он собирал талантливых людей и красивых женщин, требуя, чтобы культура в несколько недель отдавала ему все, что в ней есть наиболее обаятельного и возбуждающего.

«Дешелетт приехал!» Эта новость облетала все мастерские художников, едва только, как театральная занавес, поднималась огромная бумажная штора, закрывавшая стеклянный фасад дома. Это значило, что открывается целый ряд праздников, что в течение двух месяцев музыкальные вечера и пиры, балы и кутежи будут сменять друг друга, нарушая молчаливое оцепенение этого уголка Европы, в пору деревенского отдыха и морских купаний.

Лично Дешелетт не играл большой роли в той вакханалии, которая бушевала день и ночь у него в доме. Неутомимый кутила, он вносил в общее веселье какое-то холодное неистовство, неопределенный взор, улыбающийся, словно одурманенный гашишем, но невозмутимо ясный и спокойный. Преданный друг, раздававший деньги без счета, он относился к женщинам с презрением восточного человека, сотканным из вежливости и снисходительности; и из женщин, посещавших его дом, привлеченных его огромным состоянием и прихотливо-веселой средой, в которой он жил, ни одна не могла похвастаться тем, что была его любовницей более одного дня.

– Тем не менее он, добрый человек... – прибавила египтянка, дававшая эти разъяснения Госсэну. Вдруг, прерывая самое себя, она воскликнула: «Вот и ваш поэт!»

– Где?

– Прямо против вас... Одет деревенским женихом...

У молодого человека вырвался вздох разочарования. Его поэт! Этот толстый мужчина, потный, лоснящийся, старавшийся казаться изящным, в воротничке с острыми концами и в затканном цветами жилете Жано... Ему вспомнились безнадежные вопли, переполнявшие «Книгу Любви», которую он не мог читать без легкого лихорадочного трепета; и он невольно продекламировал вполголоса:

Pour animer le marbre orgueilleux de ton corps,
Ojsapho, j'ai donné' tout le sang de mes veines...

Она с живостью обернулась, звеня своим варварским головным убором, и спросила:

– Что вы читаете?

– Стихи Гурнери, – он был удивлен, что она не знает их.

– Я не люблю стихов... сказала она кратко; она стояла, нахмутив брови, глядя на танцующих, и нервно комкая прекрасные лиловые гроздья, висевшие перед ней. Затем, словно приняв какое-то решение, для неё не легкое, она произнесла: «До свиданья»... и исчезла.

Бедный итальянский дудочник был ошеломлен. «Что с нею?.. Что я ей сказал?».. Он стал припоминать и ничего не вспомнил, кроме того, что хорошо бы пойти спать. Грустно взял он вольтку и снова вошел в бальный зал, менее смущенный бегством египтянки, чем толпою, сквозь которую ему надо было пробираться к выходу.

Чувство своей безвестности среди этой толпы знаменитостей делало его еще более робким. Танцы прекратились; лишь кое-где немногие пары не желали пропустить последних тактов замиравшего вальса; и среди них Каудаль, исполинский и великолепный, закинув голову, кружился с маленькой вязальщицей в развевающемся головном уборе, которую он высоко приподнимал на своих рыжеволосых руках.

В огромное окно, в глубине зала, раскрытое настеж, вливались волны белого утреннего воздуха, колебали листья пальм и нагибали пламя свечей, словно стремясь погасить их. Загорелся бумажный фонарь, посыпались розетки; а слуги по всему залу устанавливали маленькие круглые столики, как на открытых террасах ресторанов. У Дешелетта всегда ужинали, так сидя вчетвером или впятером за столиком; люди, симпатизирующие друг другу, отыскивали один другого, объединялись в группы.

В воздухе не умолкали крики – неистовые возгласы предместья; «Più... ouit» несшиеся в ответ на «you-you-you» восточных девушек, разговоры вполголоса и сладострастный смех женщин, увлекаемых лаской.

Госсен воспользовался шумом, чтобы пробраться к выходу, как вдруг его остановил его приятель-студент; пот с него катился градом, глаза были вытаращены, а в каждой руке он держал по бутылке:

– Да где же вы?.. Я вас повсюду ищу... У меня есть стол, общество дам, маленькая Башелери из театра Буфф... Одета японкой, вы должно быть заметили... Она приказала мне отыскать вас. Идем скорее!.. – и он удалился бегом.

Итальянского дудочника томила жажда; манили его также и опьянение

бала, и личико молоденькой актрисы, делавшей ему издали знаки... Вдруг нежный и грустный голос прошептал у него над самым ухом: «Не ходи туда»...

Женщина, только что беседовавшая с ним, стояла рядом, почти прижавшись к нему, и увлекла его к двери; он пошел за нею, не колеблясь. Почему? То не было обаяние этой женщины; он едва разглядел ее, и та, которая звала его издали, со стальными кинжалами, воткнутыми в высокую прическу, нравилась ему гораздо больше. Но он подчинялся чьей-то воле, бывшей сильнее его воли, стремительной силе чьего-то желания.

Не ходи туда!..

Вдруг оба очутились на тротуаре улицы Ром. Извозчики ожидали, среди бледного рассвета. Метельщики улиц, рабочие отправлявшиеся на работу, поглядывали на шумный, кишевший народом и весельем дом, на эту пару в маскарадных костюмах, – на весь этот карнавал в самый разгар лета.

– К вам, или ко мне?.. – спросила она.

Не зная почему, он решил, что к нему лучше, и сказал кучеру свой далекий адрес; во время длинной дороги они говорили мало. Она держала его руку в своих маленьких и, как ему казалось, ледяных ручках; если бы не холод этого нервного пожатия, он мог бы подумать, что она спит, откинувшись вглубь кареты, с легким отсветом голубой шторы на лице. Остановились на улице Жакоб, перед студенческим отелем. Подниматься приходилось на четвертый этаж.... трудно. «Хотите, я вас понесу?»... спросил он, тихонько смеясь, помня, что весь дом спит. Она поглядела на него медленным, презрительным и вместе нежным взглядом, опытным взглядом, осуждавшим его, и ясно говорившим: «Бедный мальчик»...

Тогда, охваченный порывом, так шедшим к его возрасту и его южному темпераменту, он поднял ее на руки и понес, как ребенка; несмотря на девичью белизну своей кожи, он был крепок и хорошо сложен; он взбежал на первый этаж одним духом, счастливый этой тяжестью, висевшей на нем, охватившей его шею прекрасными, свежими, обнаженными руками.

Второй этаж казался выше, и юноша поднимался без удовольствия. Женщина забывалась и делалась тяжелее. Металлические подвески её головного убора, ласково щекотавшие его вначале, мало-помалу стали больно царапать его тело.

На третьем этаже он уже хрипел, как перевозчик фортепиано; у него захватывало дух, а она шептала, в восторге закрыв глаза: «Ах друг мой, как хорошо... как удобно»... Последние ступени, на которые он поднимался шаг за шагом, казались ему исполинской лестницей, стены, перила и узкие

окна которой вились вокруг бесконечной спиралью. Он нес не женщину, а что-то грузное, ужасное; оно душило его, и он ежеминутно испытывал искушение выпустить, гневно бросить ее, рискуя разбить ее насмерть.

Когда они достигли тесной площадки, она проговорила, открывая глаза: «Уже?»... Он же думал: «Наконец-то!» но не мог сказать этого и стоял бледный, скрестя руки на груди, готовой, казалось, разорваться от напряжения.

Вся их история – такое же восхождение по лестнице, в печальном полумраке утра....

Глава 2

Он не отпускал ее двое суток; затем она ушла, оставив впечатление нежной кожи и тонкого белья. Никаких сведений о себе она не дала, кроме своего адреса и слов: «Когда захотите, чтобы я пришла вновь, позовите... я буду всегда готова»...

На крошечной визитной карточке, изящной и благоуханной, было написано: Фанни Легран, 6, улица Аркад.

Он засунул карточку за раму зеркала, между приглашением на последний бал министерства иностранных дел и причудливо разрисованной программой вечера у Дешелетта, этих единственных его светских выездов за весь год; воспоминание о женщине, витавшее несколько дней вокруг камина вместе с этим нежным и легким запахом, испарилось одновременно с ним; и Госсэн, серьезный, трудолюбивый и, кроме всего прочего, не доверявший парижским увлечениям, не имел ни малейшего желания возобновлять эту короткую любовную связь.

Министерский экзамен предстоял в ноябре. Для подготовки к нему оставалось всего три месяца. Затем последует трех или четырехлетняя служба в канцеляриях консульства; затем он уедет куда-нибудь далеко. Мысль об отъезде не пугала его; семейные предания старинного авиньонского рода Госсэнов Д'Арманди требовали, чтобы старший сын делал то, что называется «карьерой», следуя примеру и получая поощрение и нравственную поддержку со стороны тех, кто были его предшественниками на этом поприще. Для этого провинциала Париж был не более как первым этапом весьма длинного путешествия, и это мешало ему завязывать какие-либо серьезные любовные или дружеские связи.

Неделю или две спустя после бала у Дешелетта, однажды вечером, когда Госсэн зажег лампу, выложил на стол книги и собирался сесть за работу, в дверь робко постучали; и когда он отпер, на пороге показалась женщина в светлом, нарядном туалете. Он узнал ее лишь тогда, когда она приподняла вуаль.

– Видите, это я... вернулась...

Поймав беспокойный и смущенный взгляд, брошенный им на начатую работу, она сказала: «О, я не оторву вас... я понимаю, что значит»... Сняла шляпу, взяла книжку «Вокруг света», уселась и больше не шевельнулась, поглощенная, по-видимому, чтением; но всякий раз, когда он поднимал глаза, он встречал её взгляд.

И в самом деле, нужно было много мужества, чтобы не заключить ее тотчас в объятия, так она была соблазнительна и очаровательна с маленьким личиком, с низким лбом, со вздернутым носиком, с чувственными, полными губами, и с пышным станом, затянутым в строгое парижское платье, менее страшное для него, чем её туника египтянки.

Уйдя на другой день рано утром, она приходила еще несколько раз на неделе, всегда с той же бледностью на лице, с теми же холодными, влажными руками, с тем же сдавленным от волнения голосом.

– О, я знаю, что надоедаю тебе, утомляю тебя, – говорила она. – Я должна бы быть более гордой... Поверишь ли?.. Каждое утро, уходя от тебя, я клянусь не приходить, а затем к вечеру это безумие охватывает меня снова.

Он смотрел на нее, удивленный, восхищенный этой любовной верностью, так расходившейся с его презрением к женщине. Женщины, которых он знал до сих пор, и которых встречал в ресторанах и на роликовых площадках, часто молодые и красивые, оставляли в нем всегда неприятный осадок глупого смеха, грубых кухарочных рук, вульгарных вкусов и разговоров, вынуждавших его открывать после них окно. В своей неопытности, он предполагал, что все женщины легкого поведения подобны им. Поэтому он был изумлен, найдя в Фанни чисто женскую мягкость, деликатность и значительное превосходство над теми мещанками, которых он встречал в провинции у матери, благодаря некоторому налету искусства и знанию его, что делало её разговор интересным и разнообразным.

К тому же она была музыкантша, аккомпанировала себе на рояле и пела утомленным, правда, неровным, но опытным контральто романсы Шопена и Шумана, и беррийские, бургундские или пикардийские деревенские песни, которых она знала множество. Госсэн, обожавший музыку, этот род лени и свободы, которым особенно умеют наслаждаться его земляки, возбуждался этими звуками в часы работы, и восхитительно убаюкивал ими свой отдых. Музыка Фанни приводила его в восторг. Он удивлялся тому, что она не поет на сцене, и узнал, что она пела в Лирическом театре. «Но недолго... Мне надоело»...

В ней, действительно, не было ничего заученного, условного, что бывает во многих актрисах; ни тени тщеславия или лжи. Лишь некоторая тайна окутывала её образ жизни, тайна, которую она хранила даже в минуту страсти, и в которую любовник не старался проникнуть, не испытывая ни ревности, ни любопытства, предоставляя ей приходить в условленное время, не глядя даже на часы, не зная еще мучительного

ожидания, этих громких ударов в самое сердце, звучащих желанием и нетерпением....

Время от времени – так как лето было жаркое – они отправлялись на поиски хорошеньких уголков в окрестностях Парижа, карту которых она знала в совершенстве и в подробностях. Они вмешивались в шумную толпу отъезжающих на вокзалах, завтракали в каком-нибудь кабачке на опушке леса или над водою, избегая лишь чересчур людных мест. Однажды, когда он предложил ей поехать в Во-де-Сернэ, она ответила: – нет, нет... не хочу... там слишком много художников.

Он вспомнил, что именно неприязню к художникам были отмечены первые минуты их любви. Спросил ее о причине. Она сказала:

– Это люди, выбитые из колеи, или чересчур сложные натуры, говорящие всегда больше того, что есть... Они сделали мне много зла...

Он возражал:

– Искусство прекрасно... ведь только оно украшает и расширяет жизнь.

– Видишь ли, друг мой, если есть на свете прекрасное, так это – быть простым и непосредственным, как ты, иметь двадцать лет от роду и любить!

Двадцать лет! Ей также не дали бы больше двадцати лет – так она была оживлена, бодра, всему радуясь, все одобряя....

Однажды они приехали в Сен-Клер, в долину Шеврёз, накануне праздника и не нашли свободной комнаты. Было поздно, приходилось версту идти лесом в темноте, чтобы добраться до ближайшей деревни. Тогда им предложили деревенскую кровать, оставшуюся свободной в сарае, где спали каменщики.

– Пойдем, – сказала она, смеясь. – Это напомнит мне времена моей бедности...

Она, следовательно, знала бедность?

Они пробрались ощупью, среди кроватей, на которых спали люди, в огромное помещение, выбеленное известью, где в глубине стенной ниши горел ночник; и всю ночь, прижавшись друг к другу, они старались заглушить поцелуи и смех, слыша как храпели и кряхтели от усталости их соседи, грубая, тяжелая обувь которых лежала рядом с шелковым платьем и изящными ботинками парижанки.

На рассвете в огромных воротах сарая открылось маленькое отверстие, белый свет скользнул по кроватям и по земляному полу, и чей-то хриплый голос крикнул: «Эй! вы, артель!» Затем в сарае, снова погрузившемся в темноту, началось мучительное, медленное движение, позевывание,

потягивание, громкий кашель – жалкие звуки, сопровождающие пробуждение трудовых людей; тяжелые и молчаливые лимузинцы удалились один за другим, даже не подозревая, что спали рядом с красивой женщиной.

Вслед за ними встала и она, накинула ошупью платье, наскоро собрала волосы и сказала: «Останься здесь, я сейчас вернусь»... Через минуту она пришла, с огромным букетом полевых цветов, обрызганных росой. «Теперь заснем снова»... – проговорила она, рассыпая по кровати благоуханную свежесть этих даров утра, оживлявших вокруг них воздух. Никогда не казалась она ему такой красивой, как когда стояла в дверях этого сарая, смеясь в полусвете, с развевающимися по ветру кудрями, и с руками, полными полевых цветов.

В другой раз они завтракали над прудом в Виль-Д'Аврэ. Осеннее утро окутывало туманом спокойную воду и ржавые леса против них; одни, в маленьком садике ресторана, они ели рыбу и целовались. Вдруг из маленького домика, скрытого в ветвях платана, у подножья которого был накрыт их столик, кто-то громко и насмешливо крикнул:

– Послушайте-ка, вы, там! Когда же вы перестанете целоваться? – ... В круглом окошке домика показалась львиная голова, с рыжими усами, скульптора Каудалья.

– Мне хочется сойти вниз позавтракать с вами... Я скучаю, как филин на своем дереве...

Фанни не отвечала, явно смущенная встречей; Жан, наоборот, согласился тотчас, горя нетерпением увидеть знаменитого художника, и польщенный честью сидеть с ним за одним столом.

Весьма изысканный, в свободном костюме, в котором было обдуманно все, начиная с галстука из белого крепа, смягчавшего цвет его лица, испещренного морщинами и красными угрями, и кончая жакеткой, охватывавшей еще стройную фигуру и обрисовывавшей его мускулы, Каудаль показался ему старше, чем на балу у Дешелетта.

Но что его изумило и поставило даже в некоторое затруднение, это интимный тон между художником и его любовницей. Каудаль называл ее Фанни и обращался к ней на «ты».

– Знаешь, – говорил он, устанавливая свой прибор на их столике, – уже две недели как я вдов. Мария ушла к Моратеру. Это не особенно волновало меня в первое время... Но сегодня утром, войдя в мастерскую, я почувствовал себя невыразимо плохо... Не было возможности работать... Тогда я бросил группу и поехал за город завтракать. Скверно, когда человек один... Еще минута, и я расплакался бы над своим рагу из кроликов...

Взглянув на провансальца, с едва пробивавшейся бородкой и кудрями, отливавшими цветом сотерна, он сказал:

– Хорошо быть молодым!.. Этому нечего бояться, что его бросят... А всего изумительнее то, что это заразительно... Ведь, у неё такой же юный вид, как у него!..

– Лгун!.. – сказала она, смеясь; и смех её звучал чисто женским обаянием, не имеющим возраста, желанием любить и быть любимой.

– Она изумительна... изумительна!.. – бормотал Каудаль, глядя на нее и продолжая есть, со складкой печали и зависти, змеившейся в углах его рта. – Скажи, Фанни, помнишь ли как мы однажды завтракали здесь... давно это было, чёрт возьми!.. Были Эзано, Дежуа, вся компания... ты упала в пруд. Тебя одели в платье сторожа. Это к тебе чертовски шло...

– Не помню... – сказала она холодно, и при этом вовсе не солгала; эти изменчивые создания живут лишь настоящей минутой, настоящей любовью. Никаких воспоминаний о том, что было раньше, никакого страха перед тем, что может наступить.

Каудаль, напротив, весь в прошлом, выпивая стакан за стаканом, рассказывал о подвигах своей веселой молодости, о любовных похождениях, о попойках, пикниках, балах в опере, кутежах в мастерской, о борьбе и победах. Но обернувшись, со взглядом, горевшим тем пламенем, что он разворошил, – он вдруг заметил, что Жан и Фанни его не слушали, занятые обрыванием виноградин с веток, из губ друг у друга.

– Какой вздор я говорю! – сказал он. – Я разумеется надоел вам... Ах чёрт поberi!.. Глупо быть старым!

Он встал и бросил салфетку. – Получите за завтрак, дядя Ланглуа... – крикнул он в сторону ресторана.

Он грустно удалился, волоча ноги, словно подтачиваемый неисцелимой болезнью. Любовники долго провожали глазами его высокую фигуру, горбившуюся в тени золотистых листьев.

– Бедняга Каудаль!.. Это правда, что он стареет... – прошептала Фанни, с нежным состраданием. Когда Госсэн начал негодовать на то, что Мария, натурщица и девушка легкого поведения, могла забавляться страданиями Каудала и предпочла великому артисту... Кого же? Моратера, маленького бездарного художника, имеющего за себя только молодость, она захохотала: – Ах, ты наивный... наивный... – закинула его голову и, обхватив ее обеими руками у себя на коленях, впиалась в его глаза, в его волосы, словно вдыхая аромат букета.

Вечером в этот день, Жан в первый раз поехал к любовнице, просившей его об этом, уже три месяца:

- В конце концов, почему же ты не хочешь?
- Не знаю... меня это стесняет.
- Ведь я же говорю тебе, что я свободна, живу одна...

И она увлекла его, усталого от загородной прогулки, на улицу Аркад, недалеко от вокзала. В антресолях буржуазного дома, честного и зажиточного с виду, им отворила старая служанка с угрюмым лицом, в деревенском чепце.

– Это – Машом... Здравствуй, Машом!.. – воскликнула Фанни, бросаясь ей на шею. – Видишь, вот мой возлюбленный, мой король... я привезла его... Живо, зажигай огни, сделай, чтобы все в доме было нарядно...

Жан остался один в крошечной гостиной, с полукруглыми, низкими окнами, задрапированными банальным голубым шелком, которым были обиты и диваны и лакированная мебель. Три-четыре пейзажа на стенах украшали и веселили комнату; под каждым была подпись: «Фанни Легран», или «моей дорогой Фанни»...

На камине стояла мраморная статуя в половину человеческого роста – известная статуя Каудалья «Сафо», бронзовые копии с которой можно было видеть повсюду, и которую Госсэн видел с детства в рабочей комнате отца. При свете одинокой свечи, стоявшей рядом с цоколем, Жан заметил легкое, как бы несколько молодившее Фанни, сходство этого произведения искусства со своей любовницей. Линия профиля, движение стана под драпировкой одежды, округлость рук, которыми она охватила колени, – были ему знакомы, близки; глаза его останавливались на них, вспоминая знакомые нежные ощущения.

Фанни, застав его перед статуей, сказала развязно: – В ней есть сходство со мною, не правда ли? Натурщица Каудалья была похожа на меня – ... И вслед за этим она увлекла его в спальню, где Машом, хмурясь, накрывала на два прибора на круглом столике. Все огни были зажжены, вплоть до подсвечников у зеркального шкафа, яркий веселый огонь горел в камине, и вся комната напоминала комнату женщины, одевающейся к балу.

– Мне хотелось поужинать здесь, – сказала она смеясь. – Мы скорее будем в постели...

Никогда в жизни Жан не видел такой кокетливой мебелировки. Шелковые ткани в стиле Людовика XVI и светлые кисейные занавески, виденные им у матери и у сестер, не давали ни малейшего представления об этом гнездышке, обитом, выстеганном шелком, где деревянная отделка стен скрывалась под нежными тканями, где кровать была заменена диваном, лишь более широким чем остальные, стоявшим в глубине

комнаты на белых меховых коврах.

Очаровательна была эта ласка света, огня, длинных голубых отражений в гранях зеркал, после прогулки по полям, после дождя, под который они попали, после грязных выбитых дорог, над которыми уже спускался вечер. Но, как истому провинциалу, ему мешало наслаждаться этим случайным комфортом недружелюбие служанки и подозрительные взгляды, которые она бросала на него, до тех пор, пока наконец Фанни не отослала ее одною фразой: – уйди, Машом... мы сами все сделаем. – Когда крестьянка ушла, хлопнув дверью, Фанни сказала: – Не обращай внимания, она злится на то, что я тебя люблю... Она говорит, что этим я гублю себя... Эти деревенские так алчны... Стряпня её куда лучше её самой... Попробуй этот паштет из зайца.

Она разрезала паштет, откупоривала шампанское, забывая есть сама и глядя все время на него, откидывая до плеч, при каждом движении, рукава алжирского халата из мягкой, белой, шерстяной материи, который постоянно носила дома. В этом виде она напомнила ему их первую встречу у Дешелетта; прижавшись друг к другу, сидя на одном кресле, и кушая с одной тарелки, они вспоминали этот вечер:

– Едва я увидела тебя, – говорила она, – я тотчас почувствовала, что ты должен быть моим... Мне хотелось взять тебя, увезти, чтобы ты не достался другим... А, что думал ты, увидев меня?...

Сначала она внушала ему страх; потом он почувствовал к ней доверие и полную близость. – А, кстати, я тебя с тех пор ни разу не спросил, – сказал он. – За что ты тогда рассердилась?.. За два стиха Ля Гурнери?

Она нахмурила брови, как на том балу, затем покачала головой: – Пустяки... не стоит говорить об этом... – и охватив руками его шею, продолжала: – Я ведь тоже боялась... пробовала убежать, успокоиться... но не могла, никогда не смогу...

– Уж и никогда!

– Увидишь!

Он ответил недоверчивой улыбкой, свойственной молодости, не обращая внимания на страстный, почти грозный оттенок, которым она бросила ему это «увидишь». Объятия этой женщины были так нежны, так покорны; он был твердо уверен, что ему стоит только сделать движение, и он высвободится...

Да и к чему освобождаться?.. Ему так хорошо в убаюкивающем сладострастии этой комнаты, голова так сладко кружится от ласкового дыхания над его отяжелевшими, почти смыкающимися веками, а перед глазами проходят, еще одетые ржавчиной, леса, луга, журчанье воды, – весь

день, отданный любви и природе...

Утром он был разбужен голосом Машом, кричавшей над кроватью, во все горло:

– Он там... Хочет вас видеть...

– Как это «хочет»?.. Разве я не дома... Ты значит, впустила его?..

В ярости она вскочила, выбежала из комнаты, полуодетая, в распахнутом пеньюаре: – Не вставай друг мой, я сейчас приду... – Но он не стал дожидаться, и успокоился лишь тогда, когда в свою очередь встал, обулся и оделся.

Подбирая платье в наглухо запертой комнате, где ночник освещал еще беспорядок вчерашнего ужина, он слышал в соседней комнате звуки крупного разговора, заглушенного драпировками гостиной. Мужской голос, вначале серьезный, потом умоляющий, раскаты которого прерывались рыданиями и слезливым шёпотом, чередовался с другим, который он узнал не сразу, жестким и хриплым, полным ненависти и бранных слов, доносившихся к нему, как ругань женщины из пивной.

Вся эта роскошь была запятнана этою бранью, шелковые ткани были забрызганы грязью; и женщина также была загрязнена и сведена на уровень тех женщин, которых он привык презирать.

Она вошла задыхаясь, и красивым движением руки подбирая рассыпавшиеся волосы: – Какое идиотство, когда мужчина плачет!.. – Затем, увидев его одетого, на ногах, она крикнула с бешенством: – ты встал?... ложись сейчас... я хочу... – Но вдруг растроганная, обнимая его, сказала вкрадчиво: – нет, нет, не уходи... Ты не можешь уйти так?... Во-первых, я уверена, что ты не вернешься...

– Нет... отчего же?...

– Поклянись, что ты не сердишься, что ты придешь снова... О, как я тебя знаю.

Он дал клятву, которую она требовала, но не лег, несмотря на её мольбы и на повторные уверения, что она дома, что она вправе свободно располагать своей жизнью, своими поступками. Наконец, она по-видимому покорилась, отпустила его, проводила до двери, не напоминая уже собою исступленной вакханки, а, наоборот, стояла смиренно, моля прощения.

Долгие и нежные прощальные ласки задержали их в прихожей.

– Когда же?... когда?.. – спрашивала она, глядя ему в глаза. Он собирался ответить, хотел вероятно, солгать, торопясь уйти, как вдруг его остановил звонок. Машом вышла из кухни, но Фанни сделала ей знак: – Нет... не отпирай! – все трое стояли, не двигаясь и не произнося ни звука.

Послышался заглушенный, жалобный стон, затем шелест письма,

просунутого под дверь, и медленно удалявшиеся шаги. – Я говорила тебе что я свободна... Смотри... – Она подала любовнику распечатанное письмо, жалкое любовное письмо, низкое, малодушное, торопливо нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо в котором несчастный просил прощения за свою утреннюю безумную выходку, подтверждал, что не имел на нее никаких прав, кроме тех, которые она захочет ему предоставить, молил, со сложенными руками, чтобы она его не прогоняла навсегда, обещая принять все, подчиниться всему... Только бы не потерять ее... Боже, только бы не потерять!..

– Видишь – ... сказала она, со злобным смехом; этот смех окончательно сковал его душу, которую ей так хотелось покорить. Жан подумал, что она жестока. Он не знал еще, что женщина, когда любит, добра только для предмета своей любви, что всю свою доброту и сострадание она целиком отдает одному ему.

– Ты напрасно смеешься... Это письмо прекрасно и трагично. – И, понизив голос, держа ее за руки, спросил серьезно:

– Скажи... зачем ты его гонишь?..

– Я не могу его видеть... я не люблю его.

– Меж тем он – твой любовник. Он доставил тебе эту роскошь, в которой ты живешь, в которой ты всегда жила, которая для тебя необходима!

– Друг мой, – сказала она, с оттенком чистосердечия, – когда я тебя не знала, я находила все это весьма приятным... Теперь же для меня это – мука, позор: меня тошнит от этого... О, я знаю, ты скажешь, что я не должна думать о тебе серьезно, что ты меня не любишь... Но это уж мое дело... Хочешь или не хочешь, но я тебя заставлю любить меня.

Он не ответил, условился относительно свидания на следующий день и ушел, оставив Машом несколько золотых – почти все свое студенческое состояние – в виде платы за её паштет. Для него здесь все было кончено. Какое имеет он право смущать жизнь этой женщины, и что может он предложить ей взамен того, чего она лишается?

Он написал ей в тот же день, со всей возможною нежностью и сердечностью, но не говоря, что в их связи, в легком и милом капризе, он почувствовал вдруг что-то нездоровое, недоброе, когда после любовной ночи услышал рыдания обманутого любовника, перемежавшиеся со смехом и бранью Фанни, достойными прачки.

В этом юноше, выросшем вдали от Парижа среди полей Прованса, отцовская резкость соединялась с сердечностью и нервностью матери, которую он напоминал как портрет. В виде предостережения его от

увлечений и опасностей любви, перед ним вечно стоял еще пример одного из братьев отца, беспорядочная жизнь и безумства которого почти разорили их семью и запятнали их имя.

Дядя Сезар! Этих слов и той семейной драмы, которую они напоминали, было достаточно чтобы потребовать от Жана еще более тяжелых жертв, чем отказ от этой связи, которой он никогда и не придавал особенного значения. Меж тем порвать ее оказалось труднее, чем он думал.

Невзирая на то, что он форменно расстался с Фанни, она приходила вновь, не смущаясь ни его отказами, ни запертой дверью, ни неумолимыми запретами. «У меня нет самолюбия»... писала она ему. Она ожидала часа когда он обедал в ресторане, простаивала перед кафе, где он читал газеты. Ни слез, ни сцен. Если он был не один, она довольствовалась тем, что шла за ним, выжидая минуты, когда он останется один.

– Хочешь, чтобы я пришла сегодня вечером?.. Нет?.. Тогда до свиданья, до другого раза... – И она уходила, с покорной кротостью уличного торговца, укладывающего свои товары за отсутствием покупателей, заставляя его страдать от своей суровости и от унижительной лжи, которую он бормотал при каждой встрече. «Экзамен близко... Времени не хватает... Попозже, если она не раздумает»... На самом же деле он рассчитывал тотчас после экзамена на месяц уехать на юг, а она за это время забудет его...

К несчастью, сдав экзамен, Жан заболел. В министерстве, в одном из коридоров, он схватил ангину; в самом начале он запустил ее, и она превратилась в злокачественную. Он никого не знал в Париже, кроме нескольких студентов-земляков, которых его требовательная связь отдалила от него и рассеяла. Сверх того, здесь требовалось нечто большее, чем простая преданность, и с первого вечера у его постели очутилась Фанни Легран; она не отлучалась целых десять дней, ухаживая за ним без усталости, без страха и отвращения, ловкая, как сестра милосердия, нежная, шутовская и ласковая. Во время сильного жара он переносился мыслью к тяжелой болезни которую он перенес в детстве, звал тетку Дивонну, говорил «спасибо, Дивонна», чувствуя руки Фанни на своем влажном лбу.

– Это не Дивонна... это я... Я за тобой ухаживаю...

Она избавляла его от ухода наемной сиделки, от копоти ламп, от настоек, приготовленных руками консьержки; и Жан не мог надивиться, сколько быстроты, изобретательности и исполнительности было в этих ручках, привыкших к лени и наслаждениям. По ночам она спала часа два на диване, – типичном студенческом диване жестком, как скамья полицейского участка.

– Но, дорогая Фанни, ты совсем не ходишь домой?.. – сказал он ей однажды. – Теперь мне лучше... Следовало бы успокоить Машом...

Она расхохоталась. Где находится теперь Машом, да и весь дом вместе с нею! Все было продано – мебель, одежда, даже кровать. Осталось только платье, которое было на ней, да немного дорогого белья, спасенного прислугой... Теперь, если он ее прогонит, она очутится на улице...

Глава 3

– На этот раз, кажется, я нашла... Улица Амстердам, против вокзала... Три комнаты и большой балкон... Если хочешь, пойдём посмотреть, когда ты придешь со службы... Высоко... на пятом этаже!.. Но ты меня будешь носить! Это было так приятно, помнишь?..

И смеясь, под влиянием забавного воспоминания, она прижималась к нему, обвивала рукою его шею, искала прежнего места, – своего места.

Жизнь вдвоем в меблированных комнатах, с беспокойными их нравами, с хождением по лестнице полуодетых женщин, в сетках и в мягких туфлях, с картонными перегородками, за которыми слышалась возня других пар, общность ключей, свечей, ботинок, – становилась для них невыносимой. Не для нее, конечно; с Жаном она нашла бы уютным жить всюду – под крышей, в подвале, даже в сточной трубе. Но его щепетильность любовника оскорблялась некоторыми обстоятельствами, которых раньше, будучи одиноким, он не замечал. Эти однодневные сожителства стесняли его, опорачивали его связь, внушали грусть и отвращение, как те обезьяны, в клетках Jardin des Plantes, которые подражают всем движениям и выражениям человеческой любви. Рестораны тоже наскучили, надоедало отпрапляться два раза в день на бульвар Сен-Мишель, в громадную залу, переполненную студентами, воспитанниками школы изящных искусств, художниками, архитекторами, которые, совершенно не зная его, тем не менее привыкли к его лицу за тот год, что он там обедал.

Открывая дверь, он краснел при виде взглядов, устремленных на Фанни, и входил с вызывающим и смущенным видом юноши, впервые сопровождающего женщину; он боялся встретить кого-нибудь из земляков. Затем был вопрос денежный.

– Как дорого! – повторяла она каждый раз, унося домой и проверяя скромный счет за обед. Если бы мы жили своей квартирой, я могла бы на эту сумму вести хозяйство три дня.

– Хорошо, что же нам мешает?.. – и они стали искать квартиру.

Это обычная западня. Все попадают в нее, лучшие, честные, влекомые стремлением к чистоте, любовью к «домашнему очагу», внушенной воспитанием в семье и теплом родного дома.

Квартира на улице Амстердам была снята, и ее нашли очаровательной, несмотря на то, что все комнаты были проходные, кухня и столовая

выходили на черный, заплесневелый двор, откуда из английской таверны неслись запахи помоев и хлора, а спальня – на улицу, покатую и шумную, сотрясаемую день и ночь телегами, ломовыми, omnibusами, с ежеминутными свистками, извозчиками, словом, всем грохотом Западного вокзала, фасад которого, с его грязноватой стеклянной крышей, рисовался у них перед окнами. Преимущество заключалось лишь в том, что поезда останавливались словно у их подъезда, а Сен-Клу, Виль-д'Аврэ, Сен-Жермэн, зеленые местечки на берегах Сены – были почти у их террасы.

У них была терраса, широкая и удобная, сохранившая от щедрот прежних жильцов цинковую крышу, выкрашенную под полосатый тик, мокрую и печальную в зимние дожди, но под которой было хорошо обедать летом на воздухе, словно в шале, в горах.

Занялись покупкой мебели. Жан, сообщив родным о своем намерении устроиться на квартире, получил от тетки Дивонны, как заведующей домом, необходимую сумму денег; а в письме тетка писала о скорой присылке парижанину шкафа, комода и большого камышового кресла, хранившихся в «угловой комнате» специально для парижанина.

Эта комната, которую он словно видел в глубине коридора в Кастеле, вечно пустая, со ставнями, задвинутыми железным засовом, с дверью, запертой на задвижку, своим расположением была осуждена на порывы ветра, от которых все в ней трещало, словно на маяке. В ней нагромождали старье, все, что каждое поколение, делая новые покупки, завещало прошлому.

Ах, если бы Дивонна знала, для каких своеобразных отдохновений послужит камышовое кресло, сколько шелковых юбок и кружевных панталон наполнят ящики комода в стиле empire!.. Но угрызения совести Госсэна тонули в тысяче маленьких радостей по поводу устройства гнезда.

Так приятно было после службы, в сумерки, отправляться под руку, прижавшись друг к другу, в далекие концы города, посещать какую-нибудь улицу предместья, выбирать столовую-буфет, стол и полдюжины стульев, – или цветные кретоновые занавески для окон и для постели! Он на все соглашался, с закрытыми глазами; но Фанни смотрела за обоих, пробовала стулья, опускала крышки столов, обнаруживала уменье торговаться.

Она знала магазины, где по фабричной цене продавались полные комплекты кухонной посуды для маленьких хозяйств: четыре железные кастрюли, пятая эмалированная для утреннего кофе, но отнюдь не медные, их слишком долго чистить; шесть металлических приборов с разливной ложкой и две дюжины тарелок из английского фаянса, прочных и красивых – все было сосчитано, приготовлено, уложено, словно обеденный сервиз

для кукол. Что касается простынь, салфеток, белья столового и носильного, то она знала торговца, представителя большой фабрики в Рубэ, которому можно было выплачивать в рассрочку; она постоянно выжидала, высматривала в витринах и на выставках, разыскивала распродажи – эти остатки кораблекрушений, которые Париж постоянно несет вместе с пеной у своих берегов, и нашла на бульваре Клиши великолепную кровать, продававшуюся по случаю, почти новую, и такой ширины, что на ней можно было уложить подряд семь девиц людоеда.

Возвращаясь домой со службы, он также пробовал делать приобретения; но ничего не понимал в товаре, не умел отказаться или уйти с пустыми руками. Зайдя однажды к старьевщику, чтобы купить старинную лампу, на которую указала ему Фанни, он принес, вместо проданного уже предмета, зальную люстру с подвесками, совершенно ненужную, так как у них не было гостиной.

– Мы повесим ее на веранде... – сказала Фанни, чтобы его утешить.

А какое счастье вымеривать, обсуждать место каждого предмета; а крики, а безумный хохот, а вздетые руки, когда замечали, что, несмотря на всю заботливость, несмотря на подробный список необходимых покупок, что-нибудь всегда оказывалось забытым!

Так, например, было с теркой для сахара. Неужели возможно завести хозяйство без терки!..

Затем, когда все было куплено и расставлено, занавески повешены, новая лампа зажжена, что за чудный вечер провели они, осматривая все три комнаты прежде чем лечь спать, и как смеялась она, светя ему, когда он запирает на замок дверь: – еще раз, еще... запирай покрепче... Мы у себя дома...

Началась новая и восхитительная жизнь. Окончив работу, он возвращался домой быстро, торопясь прийти и, надев туфли, сесть к камину. Идя по черной уличной грязи, он представлял себе свою комнату, освещенную и теплую, уютную от этой старой провинциальной мебели, которую Фанни заранее называла рухлядью, и которая, состояла из очень красивых старинных вещей; особенно хорош был шкаф, драгоценность в стиле Людовика XVI, с расписными дверьми, изображавшими провансальские празднества, пастушков в цветных кафтанах, танцы под свирель и под тамбурин. Присутствие в квартире этих старомодных вещей, привычных ему с детства, напоминало отцовский дом, освящало его новое жилище, удобством которого он вполне наслаждался.

Заслышав его звонок, Фанни выходила, тщательно одетая, кокетливая, «на палубу», как она говорила про себя сама. Черное шерстяное платье,

простое, но сшитое по выкройке хорошего портного, обличавшее скромность женщины, которой надоело рядиться, засученные рукава, широкий белый фартук. Она стряпала сама и довольствовалась помощью наемной служанки, приходившей для черных работ, от которых трескаются и портятся руки.

Она знала кухню хорошо, знала множество рецептов северных и южных кушаний, разнообразных, как её репертуар народных песен, которые после обеда, сняв фартук и повесив его за дверь запертой кухни, она пела низким, несколько утомленным, но по-прежнему страстным голосом.

Внизу шумела, катилась рекой, улица. Холодный дождь стучал по цинковой крыше балкона, Госсэм, грея перед огнем ноги, развалившись в кресле, смотрел в окна вокзала напротив на чиновников, гнувших спины над бумагами, под белым светом ламп, с огромными рефлекторами.

Ему было хорошо, и он позволял убаюкивать себя. Был ли он влюблен? Нет; но он был благодарен за любовь, которою его окружали, за всегда ровную нежность. Как мог он так долго лишать себя этого счастья из-за боязни – над которой он теперь смеялся – быть одураченным, попасть в западню? Разве жизнь его была чище, когда он переходил от одной женщины к другой, ежеминутно рискуя своим здоровьем?

Никакой опасности и в будущем. Через три года, когда он уедет, разрыв произойдет сам собою, без потрясений. Фанни все объяснено заранее; они говорили об этом, как о смерти, как об отдаленной, роковой, но неизбежной вещи. Остается лишь горе его домашних, когда они узнают, что он живет не один, гнев отца, сурового и быстрого на решения...

Но как они узнают? Жан ни с кем не видится в Париже. Его отец, «консул», как его звали, был весь год занят надзором за именем, которое он улучшал, и упорным уходом за виноградными лозами. Мать, больная, не могла без посторонней помощи сделать ни шага, ни движения, предоставляя Дивонне ведение хозяйства, уход за его близнецами-сестричками, Мартой и Марией, внезапное рождение которых навсегда отняло у неё силы. Что касается дяди Сезара, мужа Дивонны, то это был взрослый ребенок, которого никуда не пускали одного.

Фанни знала теперь всю его семью. Когда Жан получал письма из Кастеле, с припиской внизу крупными буквами, сделанною маленькими пальчиками сестер, Фанни читала письмо через его плечо и умилялась вместе с ним. О её прежней жизни он ничего не знал и не спрашивал. Он обладал прекрасным и бессознательным эгоизмом юности, без всякой ревности, без всякого беспокойства. Полный собственной жизни, он

расплескивал ее через край, мечтал вслух, говорил о себе, меж тем как она оставалась безмолвною.

Так протекали дни и недели, в счастливом спокойствии, которое однажды было нарушено одним обстоятельством, сильно взволновавшим их, хотя и на разный манер. Ей показалось, что она беременна, и она заявила ему об этом с радостью, которую он мог только разделить... В сущности, он испугался. Ребенок в его годы!.. Что он будет с ним делать?.. Должен ли он признать его своим?.. И какое обязательство между ним и этою женщиной! Какие осложнения в будущем!

Внезапно ему представилась цепь, тяжелая, холодная, замкнутая. Ночью он не спал, так же, как и она; лежа рядом на широкой постели, оба бодрствовали, с открытыми глазами, мысленно витая за тысячу верст один от другого.

По счастью, эта ложная тревога рассеялась, и они вновь принялись за свою мирную, изящно-замкнутую жизнь. Затем, когда зима кончилась и вернулось настоящее солнце, жилище их стало еще красивее и просторнее, благодаря балкону под навесом. Вечером они обедали на балконе, под сводом зеленоватого неба, по которому зигзагами проносились ласточки.

С улицы к ним доносились горячий воздух и шум соседних домов; но зато малейшее дуновение ветерка всецело принадлежало им, и они целыми часами забывались, прижавшись друг к другу, ничего не видя. Жан припоминал такие же ночи на берегу Роны, мечтал об отдаленных консульствах в жарких странах, о палубах отплывающих кораблей, где ветер будет дуть с такой же непрерывностью, как тот, от которого дрожала занавеска балкона. И когда она, с невидимой лаской, шептала у его губ: «Любишь ли ты меня?..», он должен был очнуться и видимо вернуться издали, чтобы ответить: «О, да, я люблю тебя»... Вот что значит любить молодого; у них голова занята слишком многим!..

На том же балконе, отделенная от них железной решеткой, обвитой вьющимися растениями, ворковала другая парочка, господин и госпожа Эттэма, законные супруги, очень толстые, поцелуи которых раздавались громко, словно пощечины. Они были удивительно похожи друг на друга годами, вкусами, тяжеловесными фигурами, и трогательно было слышать, как эти влюбленные, на закате юности, опираясь на балюстраду, тихо распевали дуэтом старинные сентиментальные романсы:

«Но слышу вздох его в тиши ночной...

О, чудный сон! Пусть длится вечно он...»

Супруги нравились Фанни. Она хотела бы с ними познакомиться. Иногда соседка обменивалась с ней, через потемневшее железо перил, улыбкой счастливых и влюбленных женщин; но мужчины, как всегда, были более сдержаны друг с другом, и не разговаривали.

Однажды Жан шел после полудня, направляясь от набережной д'Орсэ, как вдруг услышал, что кто-то окликнул его по имени, на углу улицы Рояль. День был чудесный, было ясно и тепло, и Париж расцветал на этом повороте бульвара, который, в минуту заката, во время катанья в Булонском лесу, не имеет себе равного во всем мире.

– Сядьте здесь, прекрасный юноша, выпейте чего-нибудь... Поглядеть на вас и то праздник!

Его охватили две огромные руки и усадили под навесом кафе, захватившего тротуар тремя рядами столиков. Он не противился, польщенный тем, что вокруг него толпа провинциалов, в полосатых пиджаках и круглых шляпах, с любопытством шептала имя Каудалья.

Скульптор, сидел перед стаканом абсента так шедшим к его военному росту и офицерскому значку, бок-о-бок с инженером Дешелеттом, приехавшим накануне, желтым и загорелым по-прежнему, с выдающимися скулами, и маленькими добрыми глазками, с жадными ноздрями, вдыхавшими аромат Парижа. Едва молодой человек сел, Каудаль, указывая на него с комическим ужасом, сказал:

– До чего он красив, животное!.. Только подумаешь, что я был так же молод, что у меня были такие же кудри!.. Ах, молодость, молодость!..

– Все по-прежнему? – сказал Дешелетт, улыбаясь выходке друга.

– Милый мой, не смейтесь... Все, что я имею, все, что я из себя представляю – медали, кресты, Академию, Институт – все отдал бы я за эти волосы, за этот загорелый цвет лица... – Затем, обратившись с обычной резкостью к Госсэну, спросил:

– А где же Сафо, что вы с нею сделали?.. Отчего её не видно?

Жак взглянул на него широко раскрытыми глазами, не понимая.

– Разве вы уже разошлись с нею? – и, глядя на остолбеневшего Жана, нетерпеливо прибавил: – ну, Сафо... Фанни Легран... помните, Виль-д'Аврэ...

– О, все это давно кончено...

Как выговорил он эту ложь? Вследствие какого-то стыда, какой-то неловкости при этом имени, данном его любовнице; быть может, стесняясь говорить о ней с другими мужчинами, а, быть может, из желания узнать о ней вещи, которые ему без этого не рассказали бы.

– А-а... Сафо?.. Разве она еще живет? – рассеянно, спросил Дешелетт

совершенно опьяненный счастьем видеть вновь ступени Мадлены, цветочный рынок, длинный ряд бульваров между двумя рядами зеленых букетов.

– Как! вы не помните ее у себя в прошлом году?.. Она была великолепна в одежде египтянки... А нынешней осенью, утром, я застал ее за завтраком с этим красивым юношей у Ланглуа; вы сказали бы, что это новобрачные, всего две недели как повенчавшиеся.

– Сколько ей может быть лет? С тех пор, как мы ее знаем...

Каудаль поднял голову, припоминая: – Сколько лет?.. Сколько?.. В пятьдесят третьем году, когда она позировала мне для моей статуи, ей было семнадцать; теперь семьдесят третий год. Вот и считайте! – вдруг глаза его заблистали: – Ах! если бы вы видели ее двадцать лет тому назад!.. Длинная тонкая шея, резко очерченные губы, высокий лоб... руки, плечи, несколько худые, но это так шло к знойному темпераменту Сафо!.. А какая женщина, какая любовница!.. Чего только не было в этом теле, созданном для наслаждения, какого только огня нельзя было высечь из этого кремня, из этого дивного инструмента, в котором не было ни одного недостатка!.. «Полная лира»!.. как говорил о ней Гурнери.

Жан, побледнев, спросил:

– Разве и он также был её любовником?..

– Гурнери?.. Я думаю! И это причинило мне много страданий... Четыре года жили мы вместе, как муж и жена, четыре года я берег ее, делал все, чтобы удовлетворить все её капризы... Уроки пения, уроки фортепиано, уроки верховой езды, чего-чего только не было! А когда я ее отполировал, отшлифовал, как драгоценный камень, поднятый мною в луже однажды ночью, по выходе с бала Рагаш, этот франт, этот рифмоплет отнял ее у меня, увел из-за того самого дружеского стола, за которым он приходил обедать по воскресеньям.

Он глубоко вздохнул, чтобы прогнать старую любовную досаду, дрожавшую в его голосе, потом сказал более спокойно:

– Впрочем, его вероломство не принесло ему пользы... Три года, прожитые ими вместе, были настоящим адом. Этот поэт, с вкрадчивым голосом и манерами, был капризен, зол, какой-то маньяк! Надо было видеть, что между ними происходило!.. Бывало придешь к ним, у неё завязан глаз, у него лицо исцарапано ногтями... Но самое лучшее – когда он собрался ее покинуть! Она липла к нему, как смола, следила за ним, врывалась в его квартиру, ожидала его, лежа на коврик у его дверей. Однажды ночью, в разгар зимы, она простояла пять часов кряду внизу, у Ла-Фарси, куда они поднялись целой толпой... Жаль было смотреть на

нее!.. Но элегический поэт был невозмутим до той минуты, когда, чтобы избавиться от нее, он призвал полицию. Нечего сказать, благородный человек!.. И в заключение, в виде благодарности этой красавице, отдавшей ему свою молодость, свой ум, свое тело, он вылил ей на голову целый том стихов, полных ненависти, грязи, проклятий, жалоб, «Книгу Любви», – его лучшую книгу!..

Сидя неподвижно, словно застыв, Госсэн слушал, потягивая сквозь длинную соломинку, крошечными глотками, поданное ему мороженое питье. Ему казалось, что в стакан подлили яду, леденившего ему кровь в жилах.

Он дрожал, несмотря на чудную погоду, и, как сквозь сон, смутно видел скользившие взад и вперед тени, бочку для поливки улиц остановившуюся перед Мадлен, и мелькание карет, неслышно катившихся по мягкой земле словно по вате. Ни уличного шума, ничего не существовало для него, кроме того, что говорилось за этим столом. Теперь говорил Дешелетт – это он вливал теперь яд...

– Что за ужасная вещь эти разрывы... – Его спокойный, насмешливый голос делался нежным, бесконечно участливым. – Люди прожили вместе годы, спали, прижавшись друг к другу, вместе мечтали, вместе работали! Все высказали, все отдали друг другу. Усвоили себе привычки, манеру держаться, говорить, даже черты любимого человека. Двое слились в одно... Одним словом то, что мы привыкли называть «collage»!.. Затем внезапно бросают друг друга, расходятся... Как это случается? Откуда является это мужество? Я никогда не мог бы... Да будь я обманут, оскорблен, запачкан грязью и осмеян, все таки если бы женщина заплакала и сказала мне: «останься», – я не ушел бы... Вот почему, когда я схожусь с женщиной, то всегда лишь на одну ночь... Пусть не будет завтрашнего дня... или тогда уже женитьба! Это по крайней мере, окончательно и благородно.

– Пусть не будет завтрашнего дня!.. Вам хорошо говорить! Есть, однако, женщины, которых нельзя брать на одну ночь... Например, эта женщина...

– Я и для неё не сделал исключения, – сказал Дешелетт, с ясной улыбкой, показавшейся несчастному любовнику отвратительной.

– Ну, так это потому, что вы не возбудили в ней любви, иначе... Эта женщина, когда любит, то так вцепляется... У неё есть пристрастие к семейному уюту... Только не везет ей во всех попытках этого рода. Она сходится с романистом Дежуа – он умирает... Она переходит к Эзано – он женится... Затем настает очередь красавца Фламана, гравера, бывшего

натурщика – она всегда увлекалась талантом или красотой – и... вы наверное слышали про это ужасное дело?..

– Про какое дело? – спросил Госсэн сдавленным голосом; и снова принялся сосать свою соломинку, слушая любовную драму, захватившую несколько лет тому назад весь Париж.

Гравер был беден и без ума от этой женщины; из боязни, что она его бросит, и для поддержания её роскошной жизни, он подделал банковые билеты. Уличенный тотчас, посаженный в тюрьму одновременно со своей любовницей, он был осужден к десятилетнему тюремному заключению, а ей были зачтены шесть месяцев предварительного заключения в Сен-Лазарской тюрьме, так как на суде была доказана её невиновность.

Каудаль напомнил Дешелетту, следившему в то время за процессом, как она была красива в маленьком тюремном чепчике, и как была мужественна, без тени слабости, как верна до конца своему возлюбленному... А её ответ этой старой туфле, председателю, а поцелуй, который она послала Фламану поверх жандармских треуголок, крича ему голосом, способным тронуть камни: «Не скучай, друг мой!.. Вернутся еще красные деньки, мы еще будем любить друг друга»!.. Тем не менее, это несколько отвратило ее от семейной жизни, бедняжку!

– С тех пор, пустившись в мир элегантных людей, она брала любовников на месяц, на неделю, и никогда больше не сходилась с художниками... Уж и боится же она их!.. Я, кажется, единственный, с которым она продолжала еще видаться... Время от времени она приходила в мою мастерскую выкурить папиросу... Потом прошли месяцы, и я ничего не слышал о ней до того самого дня, когда встретил ее за завтраком с этим красивым мальчиком, кушавшей виноград с ветки, которую он держал в зубах. Я подумал: вот и опять попалась моя Сафо!

Больше Жан не был в состоянии слушать. Ему казалось, что он умирает от того яда, который проглотил. После недавнего холода, теперь грудь сжигал ему огонь, и как раскаленное добела железо, охватывал его голову, в которой шумело и которая готова была треснуть. Он перешел через дорогу, пошатываясь среди колес экипажей. Кучера окликали его. Что нужно было этим болванам?

Проходя по рынку Мадлен, он был взволнован запахом гелиотропа, любимым запахом его любовницы. Он ускорил шаги, чтобы бежать от него, и в ярости, терзаемый бешенством, подумал вслух: «Моя любовница... Да, порядочная грязь!.. Сафо, Сафо! Подумать только, что я прожил целый год с ней!» Он гневно твердил её прозвище, припоминая, что встречал его в маленьких газетках, в числе других прозвищ легкомысленных женщин, в

юмористическом Готском Альманaxe любовной хроники: Сафо, Коро, Каро, Фрина, Жанна де Паутье, Тюлень...

Вся жизнь этой женщины, вместе с четырьмя буквами её отвратительного имени, грязным потоком проносилась перед его воображением. Мастерская Каудала, ссоры с Гурнери, ночные дежурства у дверей притонов или на полovice перед входом в квартиру поэта... Затем красавец-гравер, фальшивые деньги, суд... беленький тюремный чепчик, так шедший к ней, поцелуй, посланный подделывателю банковых билетов: «Не скучай, друг мой». Друг мой! То же название, то же ласкательное слово, которым она зовет и его! Какой стыд! А! он смоеет с себя эту грязь!.. И все тот же запах гелиотропа, преследовавший его в сумерках того же бледно-лилового оттенка, как и эти цветочки.

Вдруг он заметил, что он все еще ходит по рынку, словно по пароходной палубе. Он пошел дальше, быстро добежал до улицы Амстердам, твердо решив выгнать из своего дома эту женщину, вышвырнуть ее на лестницу без всяких объяснений, крикнув ей вслед в виде оскорбления её прозвище. У двери он поколебался, раздумывая, и прошел несколько шагов дальше. Она будет кричать, рыдать, выкрикивать на весь дом весь запас уличных ругательств как там, на улице Аркад...

Написать? Да, лучше написать ей, дать ей отставку в четырех словах, как можно более суровых! Он вошел в английскую таверну, пустынную и мрачную при свете газа, присел к грязному столику, вблизи единственной посетительницы, девицы, с лицом мертвеца, пожиравшей копченую лососину, ничем не запивая ее. Он спросил кружку эля, но не дотронулся до неё и принялся за письмо. Но в голове его теснилось слишком много слов, обгонявших друг друга, а загустевшее, испорченное чернило меж тем набрасывало их на бумагу чудовищно медленно.

Он разорвал два-три начатых листка, собирался уйти, наконец, ничего не написав, как вдруг чей-то жадный, набитый рот спросил его: «Вы не пьете?... можно?..» Он сделал знак головою, означавший: можно. Девица набросилась на кружку, осушила ее залпом, обнаружив этим всю свою нищету, так как у несчастной было в кармане как раз сколько нужно, чтобы утолить голод, но не на что было купить немного пива. В нем проснулось сострадание, смирившее его гнев и обнажившее перед ним внезапно ужасы женской жизни; он стал судить с большей человечностью и снова стал обдумывать свое горе.

В конце концов, она ему не солгала; и если он ничего не знал о её жизни, то это оттого, что он никогда о ней и не спрашивал. В чем он упрекает ее?.. В том, что она сидела в тюрьме?.. Но коль скоро она была

оправдана и вынесена почти на руках из зала суда?.. Так что же? То, что она имела любовников до него? Разве он не знал этого?.. Разве можно сердиться на нее за то, что её любовники известны, знамениты, что он мог встречаться с ними, говорить, любоваться их портретами на выставках магазинов? Неужели он вменит ей в преступление то, что она предпочитала именно таких людей?

В глубине его души поднималась скверная гордость, в которой он сам не хотел себе признаться, гордость тем, что он делил её любовь вместе с этими художниками, и тем, что и они находили ее прекрасной. В его годы мужчина никогда не уверен, не знает наверное. Любит женщину, любит любовь, но глаз и опыта не хватает, и молодой любовник, показывающий портрет своей любовницы, ищет одобрения, которое успокоило бы его. Фигура Сафо казалась ему выросшей, окруженной ореолом, с тех пор как он знал, что она воспета Гурнери и запечатлена Каудалем в бронзе и мраморе.

Но внезапно, снова охваченный яростью, он вскакивал со скамейки, на которую в раздумье сел, на внешнем бульваре, среди кричавших детей, сплетничавших работниц, в пыльный июньский вечер; и принимался снова в бешенстве ходить, говорить вслух... Красивая бронзовая статуя «Сафо»... рыночная вещь, имевшаяся повсюду, пошлая, как мотив шарманки, как самое слово «Сафо», которое, пережив века, загрязнило свою первоначальную поэзию нечистыми легендами, и из имени богини превратилось в название болезни... Боже! Как все это отвратительно!..

Попеременно, то успокаиваясь, то приходя в ярость, он шел вперед, отдаваясь приливу противоположных чувств и мыслей. На бульваре темнело, становилось пустынно. В горячем воздухе ощущалась какая-то приторность; он узнал ворота огромного кладбища, где в прошлом году, вместе с массой молодежи, он присутствовал при открытии бюста Каудала, на могиле Дежуа – романиста Латинского квартала, автора Cenderinette. Дежуа, Каудаль! Странно звучали для него теперь эти имена. Какою лживой и мрачной казалась ему история подруги студента и её маленького хозяйства, когда он узнал печальную подкладку, услышал от Дешелетта ужасное прозвище, даваемое этим уличным бракам!

Весь этот мрак, сгустившийся еще благодаря соседству кладбища, пугал его. Он пошел назад, сталкиваясь с мастеровыми, молчаливо бродившими, как ночные тени, и с женщинами в грязных юбках у входа в притоны, в окнах которых рисовались, как в волшебном фонаре, проходившие и обнимавшиеся парочки... Который час?.. Он чувствовал себя разбитым, словно рекрут к концу перехода; и от ноющей боли,

сосредоточившейся в ногах, у него осталась одна только усталость. Ах, если бы лечь, уснуть!.. Потом, проснувшись, он скажет женщине, холодно, без гнева: «Вот... Я знаю, кто ты!.. Ни ты, ни я не виноваты; но мы не можем больше жить вместе. Разойдемся». А чтобы защититься от её преследований, он поедет к матери и сестрам, и ронский ветер, свободный и целительный мистраль, смоев всю грязь и ужас его кошмарного сна.

Фанни легла в постель, устав ждать его, и спала крепким сном под лампой, с раскрытой книгой на одеяле. Его шаги не разбудили ее, и он смотрел на нее с любопытством, как на новую, чужую женщину.

О, как она была прекрасна! Руки, шея, плечи словно из янтаря, без пятнышка, без малейшего изъяна. Но какая усталость, какое красноречивое признание в её покрасневших веках – быть может от романа, который она читала, быть может от беспокойства и ожидания, – в этих чертах, спокойных, не оживленных острой жаждой женщины, желающей, чтобы ее ласкали и любили! Её годы, её жизнь, её приключения, её капризы, её минутные браки, Сен-Лазарская тюрьма, побои, слезы, боязнь – все можно было прочесть в них, и синева наслаждений и бессонных ночей, и складка отвращения, оттягивавшая нижнюю губу, утомленную, словно слив колодца, из которого пила вся деревня, и начинавшаяся полнота, растягивавшая кожу для старческих морщин...

Это предательство сна, среди глубокого мертвого молчания, окутывающего все, было величественно и мрачно; как поле сражения ночью, со всеми его ужасами, как видимыми, так и угадываемыми по смутным движениям тени.

Бедного юношу вдруг охватило огромное, непобедимое желание плакать.

Глава 4

Они кончали обед сидя у открытого окна, под протяжный свист ласточек, приветствовавших заход солнца. Жан молчал, собираясь заговорить, и все о той же жестокой вещи, которая преследовала его и которой он мучил Фанни с минуты своей встречи с Каудалем. Она, видя его опущенный взор и мнимо безразличный вид, с которым он предлагал ей все новые вопросы, угадала, и предупредила его:

– Послушай, я знаю, что ты мне скажешь... Избавь нас, прошу тебя... Нет сил, наконец... Ведь все это давно умерло, я люблю одного тебя, и кроме тебя для меня никто не существует!..

– Если прошлое умерло, как ты говоришь... – он заглянул в самую глубину её прекрасных глаз серого цвета, трепетавшего и менявшегося при каждом новом впечатлении. – Ты не хранила бы вещей, которые тебе его напоминают... там в шкафу...

Серый цвет глаз превратился в черный:

– Итак ты знаешь?

Приходилось проститься с этим ворохом любовных писем, портретов, с этим победным любовным архивом, который она не раз уже спасала от крушений.

– Но будешь ли ты мне верить после этого?

В ответ на скептическую улыбку, бросавшую ей вызов, она пошла за лаковым ящиком, металлическая резьба которого, среди стопок её тонкого белья, так сильно интересовала в последние дни её любовника.

– Жги, рви, все это – твое...

Но он не торопился повертывать в замке крошечный ключик, разглядывая вишневые деревья из розового перламутра и летящих журавлей, выложенных инкрустацией на крышке, которую он вдруг резко открыл... Всевозможные форматы, почерки, цветная бумага, с золочеными заглавными буквами, старые пожелтевшие записки, истершиеся на складках, листочки из записных книжек, со словами, нацарапанными карандашом, визитные карточки, – все это лежало кучей, без всякого порядка, как в ящике, в котором часто рылись и, в который теперь он сам запускал свои дрожащие руки...

– Дай их мне! Я их сожгу на твоих глазах!

Она говорила лихорадочно, стоя на коленях перед камином; рядом с ней на полу стояла зажженная свеча.

– Дай же...

Но он сказал:

– Нет... погоди... – и полушёпотом, словно стыдясь, прибавил, – Мне хотелось бы прочесть...

– К чему? Тебе это будет тяжело...

Она думала лишь о его страданиях, а не о вероломстве с её стороны выдавать тайны страсти, трепещущие признания всех этих людей, когда-то любивших ее; подвинувшись к нему и не вставая с колен, вместе с ним читала, искоса на него поглядывая.

Десять страниц, подписанных Гурнери, помеченных 1861-м годом и написанных длинным, кошачьим почерком, в которых поэт, посланный в Алжир для официального отчета о путешествии императора и императрицы, описывал своей любовнице ослепительные празднества...

Алжир, кишачий народом, настоящий Багдад тысячи и одной ночи; жители всей Африки, собравшиеся вокруг города и хлопающие дверями домов, как налетевший Самум. Караваны негров и верблюдов, нагруженных гумми, раскинутые палатки, запах мускуса над всем этим бивуаком, расположенном на берегу моря; пляски ночью вокруг огней, толпа расступавшаяся каждое утро перед появлением начальников с Юга, напоминавших магов с их восточной пышностью, с разноголосой музыкой: тростниковыми флейтами, маленькими хриплыми барабанами, окружающими трехцветное знамя пророка; а позади, ведомые неграми под уздцы лошади, предназначенные в подарок императору, украшенные шелком, покрытые серебряными попонами, потряхивавшие с каждым шагом бубенчиками и шитьем...

Талант поэта оживлял все это и заставлял проходить перед глазами; слова сверкали как драгоценные камни без оправы, высыпанные ювелиром на бумагу. Поистине должна была гордиться женщина, к ногам которой бросались все эти сокровища! Можно было себе представить, как ее любили, ибо, несмотря на все очарование этих празднеств, поэт думал только о ней, умирал от того, что не видел ее:

«Ах, сегодняшнюю ночь я провел с тобой, на широком диване, на улице Аркад. Ты была безумна, обнаженная, ты кричала от восторга, осыпаемая моими ласками, когда я вдруг проснулся укутанный ковром на моей террасе, под сводом звездной ночи. Крик муэдзина поднимался в небо с соседнего минарета, словно яркая и чистая ракета, скорее страстная, нежели молящая, и я снова слышал словно тебя, просыпаясь от моего сна».

Какая злая сила заставила его продолжать чтение письма, несмотря на ужасную ревность, от которой у него побелели губы и судорожно

сжимались руки? Нежно, лукаво, Фанни пробовала было отнять у него письмо; но он дочитал его до конца, а за ним второе, потом третье, роняя их после прочтения, с оттенком презрения и равнодушия, и не глядя на огонь в камине, вспыхивавший ярче от страстных и полных лиризма излияний знаменитого поэта. Порой, под наплывом этой любви, переходившей все границы среди африканской атмосферы, лирическое чувство любовника вдруг бывало запятнано какой-нибудь грубой, грязной выходкой, достойной солдата, которая удивила бы и шокировала бы светских читательниц «Книги любви», утонченно-духовной и чистой, как серебряная вершина Юнгфрау.

Страдания сердца! На них-то, на этих грязных местах и останавливался главным образом Жан, не подозревая того, что лицо его всякий раз нервно передергивалось судорогой. Он имел даже дух усмехнуться над постскриптумом, следовавшим за ослепительным рассказом о празднике в Айсауассе: «Перечитываю мое письмо... Многое в нем недурно; отложи его для меня, оно мне может пригодиться...»

– Этот господин подбирал все! – проговорил Жан, переходя к другому листку, исписанному тем же почерком, в котором ледяным тоном делового человека Гурнери требовал обратно сборник арабских песен и пару туфель из рисовой соломы. То был конец их любви. Ах, этот человек мог уйти, он был силен!

И, безостановочно, Жан продолжал осушать это болото, над которым поднимались горячие и вредные испарения. Настала ночь; он поставил свечу на стол, и прочитывал коротенькие записки, набросанные неразборчиво, словно чересчур грубыми пальцами, которые в порыве неутоленного желания или гнева дырявили и прорывали бумагу. Первое время связи с Каудалем, свидания, ужины, загородные прогулки, затем ссоры, возвраты с мольбами, крики, низменная и неблагородная мужицкая брань, прерываемая шутками, забавными выходками, упреками и рыданиями, весь страх великого художника перед разрывом и одиночеством...

Огонь пожирал все, вытягивал длинные, красные языки, среди которых дымились и корчились плоть, кровь и слезы гениального человека; но какое дело до этого было Фанни, всецело принадлежавшей теперь молодому любовнику, за которым она следила, и чья безумная горячка сжигала ее сквозь платье! Он нашел портрет, сделанный пером, подписанный Гаварни, со следующим посвящением: «Подруге моей, Фанни Легран, в трактире Дампьер, в день, когда шел дождь». Умное и болезненное лицо, со впалыми глазами, с оттенком горечи и муки...

– Кто это?

– Андрэ Дежуа... Я дорожу им только из-за подписи.

Он сказал «можешь оставить», но с таким жалким, принужденным видом, что она взяла рисунок, изорвала его на мелкие клочки и бросила в огонь; а он погружался в переписку романиста, в ряд горестных посланий помеченных зимними морскими курортами, названиями купаний, где писатель, посланный для поправки и отдыха, отчаивался и страдал физически и духовно, ломая себе голову, в поисках замыслов, вдали от Парижа, перемежая просьбы лекарств, рецептов, денежные профессиональные заботы, отсылку корректур – все тем же криком желания и обожания, обращенными к прекрасному телу Сафо, бывшему для него под запретом врачей.

Жан, в бешенстве, прошептал:

– Но что же, в самом деле, заставляло всех их так гоняться за тобою?..

Он видел в этом единственное значение этих отчаянных писем, раскрывавших всю неурядицу жизни одного из великих людей, которым завидует молодежь и о которых мечтают романтические женщины... Да, в самом деле, что испытывали все они? Каким питьем поила она их?.. Он переживал страдания человека, который, будучи связан, видит, как при нем оскорбляют любимую женщину; и, тем не менее, он не мог решиться сразу, закрыв глаза, выбросить все, что находилось в этой коробке.

Настала очередь гравера, который, будучи неизвестен, беден, не прославленный никем кроме «Судебной газеты», был обязан своим местом среди этих реликвий лишь огромной любви, которую она к нему питала. Позорны были эти письма, помеченные Мазасской тюрьмой, глупые, неуклюжие, сантиментальные, как письма солдата к своей землячке! Но в них, сквозь подражание романсам, слышался оттенок искренней любви, уважения к женщине, забвения самого себя, отличавшее от других этого каторжника; так, например, когда он просил прощения у Фанни в том, что слишком любил ее, и когда из канцелярии суда, тотчас по объявлении приговора, писал ей о своей радости по поводу того, что она оправдана и свободна. Он ни на что не жаловался; он провел вблизи её и благодаря ей два года такого полного, такого глубокого счастья, что воспоминаний о нем достаточно, чтобы наполнить его жизнь, смягчить ужас его положения, и он кончал просьбой оказать ему услугу!

«Ты знаешь, что у меня в деревне есть ребенок, мать которого давно умерла; он живет у старухи родственницы, в таком глухом углу, куда слухи о моем деле никогда не проникнут. Все бывшие у меня деньги я отослал им, говоря, что уезжаю в далекое путешествие, и рассчитываю, моя добрая

Анни, что ты будешь время от времени справляться о несчастном малютке и сообщать мне о нем сведения»...

В доказательство забот Фанни, следовало письмо, полное благодарности, и еще письмо, написанное недавно, менее полугода тому назад; «Ах, как ты добра, что пришла навестить меня... Как ты была прекрасна, как ты благоухала, рядом с моею курткой каторжника, которой мне было так стыдно»... Жан прервал самого себя в бешенстве:

– Ты, значит, продолжала видеться с ним?

– Изредка, из сострадания...

– Даже когда мы уже жили с тобой вместе?...

– Один раз, единственный, в конторе... только там и можно с ними видеться.

– А! Ты, действительно, добра!..

Мысль, что, несмотря на их связь, она продолжала посещать этого каторжника, выводила его из себя. Он был слишком горд, чтобы признаться в этом; но последняя связка писем, перевязанная голубой ленточкой и надписанная мелким и косым почерком женщины, – довела его ярость до крайних пределов.

«Я буду переодевать тунику после бега на колесницах. Приходи ко мне в уборную»...

– Нет!.. нет!.. не читай этого!..

Фанни бросилась к нему, вырвала у него из рук и бросила в огонь всю связку писем; а он ничего не понял, даже при виде любовницы, обнимавшей его колени с лицом, залитым отсветом камина и краской позора, сопровождавшей признание:

«Я была молода, это – Каудаль... безумец... Я делала то, что он хотел».

Только тут понял он, и лицо его покрылось смертельной бледностью.

– Да, конечно... Сафо... «полная лира»... – И отталкивая ее ногой, как нечистое животное, продолжал, – уйди, не прикасайся ко мне, я не могу тебя видеть!..

Крик его потонул в ужасном грохоте, долгом и близком, меж тем как яркий свет осветил комнату. Пожар!.. Она выпрямилась, испуганная, схватила машинально графин на столе, вылила его на кучу бумаги, пламя которой пожгло накопившуюся в трубе сажу, затем схватила кувшин с водой, кружки, но, видя свое бессилие, так как пламя вырывалось достигая середины комнаты, побежала к балкону, крича: «Пожар! пожар»!

Первыми прибежали Эттэма, затем привратник, потом полицейские. Слышались крики:

– Задвиньте чугунную доску в камине!.. Лезьте на крышу!..

Пораженные ужасом, они смотрели, как их квартира заполнялась чужими людьми, заливалась водой, грязнилась; затем, когда толпа народа внизу, при свете газа, рассеялась, когда соседи успокоились и вернулись к себе, они стояли посреди своей квартиры затопленной водой, выпачканной сажей, с мокрой, опрокинутой мебелью, и чувствовали такое отвращение и такую слабость, что не имели сил ни продолжать ссору, ни убирать комнаты. Что-то мрачное, низменное вошло в их жизнь, и в этот вечер, забыв свое отвращение к отелям, они отправились ночевать в соседний отель.

Жертва Фанни не повела ни к чему. Из писем, которые исчезли, которые были сожжены, целые фразы, заученные наизусть, не выходили у Жана из головы, и заставляли его внезапно краснеть, как некоторые места из дурных книг. Бывшие возлюбленные Фанни были почти все знаменитостями. Те, которые умерли, продолжали жить в памяти людей; портреты и имена живых виднелись повсюду, о них говорили в его присутствии, и всякий раз он испытывал стеснение, боль, словно от порванных семейных уз.

Боль обострила его ум и зрение; вскоре он стал находить у Фанни следы прежних влияний и слова, мысли, и привычки, оставшиеся у неё от них. Манера двигать большим пальцем, словно придавая форму, вылепляя предмет, о котором она говорила, и прибавлять: «видишь здесь»... принадлежали скульптору. У Дежуа она заимствовала страсть к каламбурам и народным песням, сборник которых он издал и который был известен во всех углах Франции; у Гурнери – пренебрежительный оттенок, высокомерие, строгость суждений о новой литературе.

Она усваивала все это, наслаивая вещи несходные, подобно наслоению, позволяющему по геологическим пластам угадывать перевороты, происшедшие под земною корой в различные эпохи; быть может даже, она не была так умна, как показалась ему в начале. Но дело было не в уме; если бы она была глупой на редкость, вульгарной и лет на десять старше, она все же сумела бы его удержать силою своего прошлого, низменной ревностью, пожиравшей его, мук и уколов которой он уже не скрывал, обрушиваясь ежеминутно то на одного, то на другого.

Романов Дежуа никто уже не покупает, все издания валяются у букинистов на набережной и продаются по двадцать пять сантимов за том. А старый дурак Каудаль все еще мечтал о любви в его годы!.. «Знаешь, у него нет зубов. Я смотрел на него за завтраком, когда мы были в Виль-Д'Аврэ. Он жуёт как коза, передними зубами». Кончен и его талант! Какое уродство его вакханка в последнем Салоне! «Она не стоит на ногах»... Это

выражение он заимствовал у Фанни, которая, в свою очередь, переняла его от скульптора. Когда он накидывался, таким образом, на одного из своих соперников в прошлом, Фанни вторила ему, желая ему понравиться; стоило послушать как этот мальчик, ничего не смысливший в искусстве, в жизни, и эта поверхностная женщина, слегка отшлифованная умом и талантом знаменитых артистов, перебирали и безапелляционно осуждали их!..

Но самым заклятым врагом Госсэна был гравер Фламан. Об этом он знал лишь то, что он был красив, белокур, что она также называла его «друг мой», совершенно так Жана, что она виделась с ним тайком, и что, когда он нападал на него, как на остальных, и называл его «сантиментальным каторжником» или «красавцем-арестантом», то Фанни отворачивалась и не произносила ни слова. Вскоре он уже обвинял свою любовницу в том, что она продолжает питать нежные чувства к этому бандиту, и она объяснялась по этому поводу кротко, но с известной твердостью:

– Ты знаешь, Жан, что я его не люблю, так как люблю тебя. Я не хожу к нему, я не отвечаю на его письма; но ты никогда не заставишь меня говорить дурно о человеке, любившем меня до безумия, до преступления.

На слова, произнесенные таким искренним тоном – лучшее что в ней было – Жан не возражал, но продолжал мучиться ревностью и ненавистью, обостренной тревогой, которая заставляла его иногда внезапно возвращаться среди дня на улицу Амстердам. «Не ушла ли она к нему?»...

Он находил ее дома, в маленькой квартире, бездеятельную, как восточная женщина, или за фортепиано, дававшей урок пения толстой соседке, мадам Эттэма. С того вечера, когда случился пожар, Фанни и Жан подружились с этими добрыми, спокойными, полнокровными людьми, постоянно жившими среди сквозняков, с открытыми дверьми и окнами...

Муж, служивший чертежником в артиллерийском музее, брал работу на дом, и каждый вечер в будни, а по воскресеньям и весь день можно было видеть его, склонившегося над широким столом, покрытого потом, тяжело дышавшего, в одной жилетке, и встряхивавшего рукавами, чтобы впустить в них немного воздуха. Рядом с ним его толстая супруга, в кофточке, обмахивалась, хотя никогда ничего не делала; чтобы освежиться, время от времени они затягивали один из своих любимых дуэтов.

Вскоре между двумя семьями установилась близость. Утром, около десяти часов, сильный голос Эттэма кричал перед дверью: «Готовы ли вы, Госсэн?» Их канцелярии находились по соседству, и они отправлялись на службу вместе. Тяжеловатый, грубый, по своему общественному положению несколькими ступенями ниже своего молодого товарища,

чертежник говорил мало, бормотал, словно во рту у него росла такая же борода, как на подбородке; но чувствовалась, что он – честный человек, и моральная неустойчивость Жана нуждалась в этой поддержке. Особенно дорожил он ими из-за Фанни, жившей в одиночестве, населенном воспоминаниями и сожалениями, более опасными, чем связи, от которых она добровольно отказалась, и находившей в госпоже Эттэма, беспрестанно занятой своим мужем – лакомым сюрпризом, который она приготовит ему к обеду, новым романсом, который она споет ему за десертом – честную и здоровую компанию.

Когда дружба, однако, дошла до взаимных приглашений, Госсэн начал колебаться. Соседи, вероятно, считали их повенчанными, и его совесть восставала против лжи; он поручил Фанни предупредить соседку, чтобы не вышло недоразумения. Это подало ей повод смеяться без конца. Бедный ребенок! Только он и может быть таким наивным!

– Да они ни одной минуты не предполагали, что мы женаты... К тому же для них это безразлично. Если бы ты знал, где он познакомился со своею женой! Вся моя жизнь на ряду с её жизнью – пост. Он женился на ней, чтобы она принадлежала ему одному, и, видишь, прошлое несколько его ни стесняет.

Жан не мог опомниться от изумления. Эта матрона, эта добрая кумушка с светлыми глазами, с детским смехом, от которого делались ямочки на щеках, с провинциальным говором, для которой романсы никогда не были достаточно сентиментальны и слова – достаточно возвышенны; и он, – спокойный, уверенный в своем любовном благоденствии... Жан смотрел, когда тот шел с ним рядом, держа в зубах трубку, вздыхая от счастья, меж тем как он постоянно думал и мучился бессильным бешенством.

– Это у тебя пройдет, друг мой, – кротко говорила ему Фанни в те минуты, когда люди говорят друг другу все, и успокаивала его, нежная и очаровательная, как в первый день их любви, но с каким-то оттенком самозабвения, которого Жан не понимал.

В ней замечалась более свободная манера держать себя и говорить, сознание своей силы; она делала странные, непрошенные признания о своей прошлой жизни, о былых кутежах, о безумствах, которые делались ею из любопытства. Она не стеснялась теперь курить, свертывая и оставляя повсюду на мебели вечные папиросы, сокращающие день для подобного рода женщин, и в разговорах высказывала о жизни, о низости мужчин и о глупости женщин самые циничные суждения. Даже её глаза, выражение которых обычно менялось, делались теперь похожими на стоячую воду, по

которой пробегали искры циничного смеха.

Их близость также преобразилась. Осторожная в начале, щадившая юность своего любовника, относясь с уважением к его первой иллюзии, впоследствии она перестала стесняться, видя, какое действие произвело на этого ребенка её внезапно раскрытое развратное прошлое – та болотная лихорадка, которую она зажгла ему кровь. И распутные ласки, которые она так долго сдерживала, весь бред, который она останавливала, стиснув зубы, теперь она уже перестала таить, предавалась им со всей страстью влюбленной и опытной куртизанки, являясь во всей ужасающей славе Сафо.

Чистота, сдержанность... к чему все это? Все люди одинаковы, все заражены пороком, все его жаждут, и этот юноша не лучше других. Насытить их тем, что они любят – лучшее средство удержать их при себе, и все извращения наслаждений, в которые она была посвящена другими, она передавала Жану, который, в свою очередь, должен был передавать их другим. Так распространяется яд, сжигая тело и душу, и напоминая те факелы, о которых говорит латинский поэт, и которые из рук в руки переходили по арене.

Глава 5

В их спальне, рядом с великолепным портретом Фанни, писанным Джеймсом Тиссо, остатком её былого великолепия продажной женщины, висел южный пейзаж, с резкими тенями и пятнами света, грубо снятый деревенским фотографом при солнце.

Скалистый берег, покрытый виноградниками, обнесенный каменными оградами, а выше, за рядом кипарисов, защищавших от северного ветра, вблизи маленькой светлой сосновой рощицы, и миртовых деревьев, стоял большой белый дом, полу-ферма, полу-замок, с широким крыльцом, с итальянской крышей, с гербами на дверях; продолжением его служили желтые стены провансальских хижин, насесты для павлинов, загоны для скота, черные отверстия сараев, в которые виднелись блестящие плуги и бороны. Уцелевшая от старых укреплений высокая башня, выделявшаяся на безоблачном небе, господствовала над окрестностями, вместе с несколькими крышами и романской колокольней Шатонёф-де-Пап, где издавна жили Госсэны Д'Арманди.

Кастеле – виноградники и усадьба – знаменитый своим виноградом, как Нерт Эрмитаж, переходил от отца к сыновьям, не делясь между детьми; хозяйничал всегда младший сын, вследствие семейных традиций, в силу которых старший сын служил консулом. К несчастью, природа нередко противится этим планам, и если когда-нибудь существовал человек, менее способный управлять имением и вообще, чем-бы то ни было, то это был Сезар Госсэн, которому выпала эта обязанность, когда ему было двадцать четыре года.

Распутный, завсегда́тай игорных домов и деревенских притонов, Сезар, или точнее «Фена» – лентяй, шалопай, как его прозвали в юности, являлся типом выроodka, противоположного общему характеру семьи, встречающегося время от времени и в самых суровых и строгих семьях, в которых он играет роль как бы клапана.

После нескольких лет безделья, безумной расточительности и отчаянных кутежей в клубах Авиньона и Оранжа, он заложил землю, опустошил запасы погребов, продал на корню будущие сборы; затем, однажды, накануне наложения на имущество ареста, Фена подделал подпись брата, выдал три векселя с переводом уплаты на консульство в Шанхае, убежденный, что до наступления срока найдет деньги и выкупит векселя; но они в свое время были присланы старшему брату;

одновременно он получил отчаянное письмо, сообщавшее о разорении и о подлоге. Консул тотчас приехал в Шатонёф, выручил всех из ужасного положения с помощью своих сбережений и приданого жены; видя полную непригодность Фена к хозяйству, он отказался от карьеры, сулившей ему блестящее будущее, и превратился в простого винодела.

То был настоящий Госсэн – ярый хранитель традиций, страстный, но спокойный, на манер потухших вулканов, всегда хранящих грозную возможность извержения; вместе с тем трудолюбивый и сведущий в культуре виноградников. Благодаря ему, имение пришло в цветущий вид, округлилось еще несколькими участками, до самой Роны, и так как благополучие никогда не приходит одно, то под миртами родной усадьбы вскоре появился на свет маленький Жан. Меж тем Фена бродил по дому, угнетенный своей виной, едва осмеливаясь глядеть на брата, презрительное молчание которого его удручало; он дышал свободно только в поле, на охоте, на рыбной ловле, стараясь рассеять горе пустыми занятиями, собирая улиток, вырезая великолепные тросточки из миртового дерева или из камыша, и завтракая дичью, которую жарил на костре из оливковых веток, в лесу. Вечером, вернувшись к обеду и сядя за стол брата, он не произносил ни слова, несмотря на благосклонную улыбку невестки, жалевшей несчастного, и снабжавшей Фена карманными деньгами тайком от мужа, относившегося к нему по-прежнему строго, гораздо менее за его прошлые глупости, чем за те, которые он мог совершить в будущем; действительно, едва был заглажен его поступок, как гордость Госсэна-старшего подверглась новому испытанию.

Три раза в неделю приходила в Кастеле швея, красивая дочь рыбака, Дивонна Абриэ, родившаяся на берегу Роны, в ивняке – настоящая водоросль, с длинным, колеблющемся стеблем. В своем местном головном уборе, охватывавшем с трех сторон её маленькую головку, откиннутые завязки которого открывали её смуглую шею и нежные очертания груди и плеч, она напоминала какую-нибудь даму из старинных приютов любви, находившихся некогда вокруг Шатонёфа, в Куртезоне, в Вакера, в старинных замках, развалины которых раскинуты по холмам.

Эти исторические воспоминания не играли, конечно, никакой роли в увлечении Сезара, простодушного, не имевшего никаких идеалов и ничего не читавшего; но, будучи маленького роста, он любил крупных женщин, и с первого дня увлекся Дивонной. Ему знаком был порядок деревенских ухаживаний; кадрили на воскресном балу, дичь, принесенная в подарок, а при встрече в поле, смелое нападение на траве или на соломе. Случилось так, что Дивонна не танцевала, присланную ей дичь отослала на кухню, и

стройная и сильная, как прибрежный тополь, белый и гибкий, так оттолкнула соблазнителя, что он отлетел на десять шагов. С тех пор, она держала его на почтительном расстоянии, угрожая постоянно острыми ножницами, висевшими у её пояса на стальном крючке, увлекла его до безумия, так что он заговорил о женитьбе и признался во всем невестке. Последняя, с детства зная Дивонну Абриэ, за серьезную, любящую девушку, решила в глубине души, что этот союз, предосудительный с точки зрения света, был бы быть может спасением для Фена; но гордость консула возмутилась при мысли о женитьбе Госсэна Д'Арманди на крестьянке: «Если Сезар сделает это, я прекращу с ним всякие сношения»... и он сдержал слово.

Сезар, женившись, покинул Кастеле и поселился на берегу Роны у родителей жены, живя на маленькую пенсию, которую выдавал брат и ежемесячно приносила снисходительная невестка. Маленький Жан сопровождал мать во время этих посещений, восхищался хижинкой Абриэ, закоптелой ротондой, вечно сотрясаемой трамонтаной или мистралем, которую поддерживал единственный вертикальный столб, словно мачта. В открытую дверь виднелся небольшой мол, на котором сушились сети, сверкала и дрожала перламутром и жидким серебром рыба чешуя, внизу две-три лодки, качавшиеся и скрипевшие на якорях, и огромная река, веселая, широкая, блестящая, с пышными, ярко зелеными островами. Маленьким мальчиком Жан здесь почувствовал влечение к далеким путешествиям и любовь к морю, которого еще не видел.

Изгнание дяди Сезара продолжалось два-три года, и по всей вероятности никогда бы не кончилось, если бы не одно семейное событие, а именно рождение двух девочек-близнецов, Марты и Марии. Мать от этих двойных родов заболела и Сезару и жене его было разрешено навестить ее. Произошло примирение братьев, беспричинное, инстинктивное, вследствие лишь того, что они были одной крови; молодые поселились в Кастеле, и когда неизлечимое малокровие, осложненное подагрой и ревматизмом, приковало к постели бедную мать, Дивонна взяла на себя ведение всего дома, надзор за кормлением малюток, за многочисленной прислугой, и должна была два раза навещать Жана в Авиньонском лицее, не говоря уже о том, что уход за больной требовал её постоянного присутствия.

Любившая порядок, умная Дивонна, восполняла пробелы своего образования чуткостью, острым крестьянским умом и обрывками знаний, уцелевших в голове Фена, укрощенного и подчинявшегося теперь дисциплине. Консул доверил ей все заботы по дому, тем более тяжелые, что расходы возрастали, а доходы уменьшались из года в год, подточенные у

самого корня виноградных лоз филоксерой. Вся долина была охвачена этим бедствием, но их виноградники еще уцелели, благодаря заботам консула: он во что бы то ни стало хотел спасти землю путем разных изысканий и опытов. Дивонна Абриэ, не желавшая расстаться ни с своим головным убором, ни с крючком у пояса, и державшаяся так скромно в роли заведывающей и компаньонки, охраняла от нужды всю семью в эти критические годы; больная была по-прежнему окружена дорого стоящими заботами, малютки воспитывались при матери, как барышни; пособие Жану высылалось аккуратно, сначала в гимназию, потом в Экс, где он начал изучать юридические науки, и, наконец в Париж, куда он поехал кончать образование.

Каким чудом добивалась Дивонна всего этого порядка и бдительности, никто кроме неё не знал. Но всякий раз, когда Жан вспоминал Кастеле, когда он поднимал глаза на выцветшую фотографию, то первое лицо встававшее перед ним, первое имя приходившее на память было имя Дивонны, – крестьянки с великой душой, которая, как он чувствовал, составляла главный нерв всего их дома и поддерживала его усилием своей воли. В последние дни, однако, с тех пор, как он узнал, кто его любовница, он избегал произносить перед ней это уважаемое имя, как имя матери, или кого-либо из родных; ему даже неприятно было смотреть на фотографию, неуместную, и неизвестно как попавшую на эту стену, над кроватью Сафо.

Однажды, вернувшись к обеду, он был удивлен, увидя на столе три прибора вместо двух и был совершенно поражен, застав Фанни играющей в карты с маленьким человечком, которого он сначала не узнал, но который, обернувшись, обнаружил светлые глаза шальной козы, длинный нос на загорелом, красном лице, лысую голову и бородку дяди Сезара. На восклицание племянника он ответил не выпуская из рук карт: «Видишь не скучаю; играю в безик с племянницей».

«Племянница»!

А Жан так старательно скрывал от всего света свою связь! Эта фамильярность не понравилась ему, равно как и вещи, которые ему говорил дядя Сезар вполголоса, пока Фанни занималась обедом. «Поздравляю, племянник... Какие глаза... Какие руки... Лакомый кусочек»... Но было еще хуже, когда за обедом Фена начал неосторожно говорить о делах Кастеле, и о том, что привело его в Париж. Предлогом для его путешествия было получение восьми тысяч франков, которые он некогда одолжил своему другу Курбебесу, и в получении которых он уже отчаялся, как вдруг письмо нотариуса известило его о смерти Курбебеса и о предстоящей выдаче ему восьми тысяч франков. Но главная причина, (деньги ему можно

было переслать) «настоящая причина – это здоровье твоей матери, бедняжки... За последнее время она стала очень слаба, временами у неё путаются мысли, она забывает все, даже имена дочерей. На днях, вечером, когда твой отец вышел из комнаты, она спросила у Дивонны, кто этот добрый господин навещающий ее так часто. Никто не заметил еще этого, кроме тетки, и она сказала это мне только для того, чтобы я поехал посоветоваться с Бушеро относительно здоровья бедной женщины, которую он некогда лечил».

– Были ли у вас сумасшедшие в семье? – спросила Фанни наставительным и важным тоном, напуская на себя вид Гурнери.

– Нет, – отвечал Фена, и с лукавой улыбкой расплывшейся до висков, прибавил что он в своей молодости обнаруживал признаки безумия... – Не могу, однако, сказать, чтобы мое безумие не нравилось женщинам; запереть меня также не приходилось...

Жан глядел на них с отчаянием. К горю, причиненному ему этой печальной вестью, присоединилось еще неудовольствие слушать, как эта женщина говорит о его матери, о её недомоганиях, приписываемых критическому возрасту, с развязностью и опытностью матроны, облокотившись на стол и крутя папироску. А этот, болтливый, нескромный, забывался и выбалтывал все семейные тайны.

Ах, виноградники!.. конец виноградникам!.. Да и земля недолго продержится; большая часть лоз уже подточена, а остальные еще живут каким-то чудом: за каждой кистью, за каждым зерном ухаживаю, как за больным ребенком, покупая дорогие лекарства. Самое ужасное то, что консул упрямо сажает новые лозы, на которые червь набрасывается тотчас, вместо того, чтобы отвести под каперсы и под оливковые деревья всю эту землю, бесплодно покрытую больными и ржавыми лозами.

К счастью у него, у Сезара, есть несколько гектаров своей земли на берегу Роны; он применяет к ним особые способы затопления, – чудесное открытие, которое можно применять лишь на низинах. Ему мерещится уже хороший сбор; вино, правда, не крепкое, «лягушиное вино», как презрительно называл его консул, но Фена упрям, а на восемь тысяч, которые он получит от Курбебеса, он собирается купить еще имение Пибуллет...

– Знаешь, мальчик, это первый остров на Роне, пониже Абриэ... Но это – между нами: Боже упаси, если кто-нибудь в Кастеле узнает...

– Даже Дивонна? – спросила Фанни, улыбаясь.

При имени жены, глаза Фена сделались влажны:

– Ах, без Дивонны я никогда ничего не предпринимаю; она верит в

мой план и была бы счастлива, если бы бедный Сезар вернул Кастеле его богатства, положив некогда начало его разорению!

Жан вздрогнул; неужели он хочет исповедоваться, рассказать злополучную историю с подлогом? Но провансалец, охваченный нежностью к Дивонне, заговорил о ней, и о том счастье, которое она ему давала. И такая красавица, сверх всего, так великолепно сложена!

– Вот, племянница, вы – женщина; вы должны это оценить!

Он протянул ей фотографическую карточку, вынутую из бумажника, с которой никогда не расставался.

По оттенку сыновьего чувства, с которым говорил о тетке Жан, по материнским советам, которые писала крестьянка неровным, дрожащим почерком, Фанни представляла ее себе типичной крестьянкой Сены и Уазы, и была поражена её прекрасным лицом, с чистыми линиями, обрамленным узким, белым чепцом, и изящным и гибким станом тридцатипятилетней женщины.

– Очень красива, в самом деле... – сказала она, кусая губы с каким то странным выражением.

– А как она сложена! – снова сказал с восхищением дядя.

Все перешли на балкон. После жаркого дня, накалившего цинковую крышу веранды, из беглого облачка шел мелкий, освежающий дождь, весело стучавший по кровлям, и смачивавший плиты тротуаров. Париж улыбался под этим дождем, и толпа людей, и экипажи, и шум, поднимавшийся с улицы, опьяняли провинциала, возрождали в его пустой и легкой, как бубенчик, голове, воспоминания юности и трехмесячного пребывания, тридцать лет тому назад, в Париже у своего друга Курбебеса.

Что это были за кутежи, дети мои, что за приключения!.. Например, их выезд однажды ночью на масленице в Прадо: Курбебес был одет щеголем, а его любовница Морна – продавщицей песен, и костюм принес ей в то время счастье, так как она вскоре сделалась кафешантанной знаменитостью. Сам же дядя сопровождал девчонку из их квартала, по прозвищу Пелликюль. Развеселившись окончательно, дядя хохотал во все горло, напевал мелодии для танцев, и, увлекаясь, обхватывал талию племянницы. В полночь, расставшись с ними, чтобы ехать в отель Кюжас, единственный, который он знал в Париже, он горланил песни на лестнице, посылая воздушные поцелуи племяннице, светившей ему, и кричал Жану:

– Знаешь, ты у меня поберегись!

Едва он ушел, как Фанни, с морщинкой на лбу, выдававшей её тревогу, быстро прошла в уборную, и в полуоткрытую дверь, пока Жан раздевался, почти равнодушно сказала:

– Знаешь, тетка твоя очень красива; теперь я не удивляюсь, что ты так часто говоришь о ней... Вы, должно быть, украсили славными рогами бедного Фена; впрочем, с такую внешностью, как у него...

Он возмутился и стал возражать. Дивонна заступила ему мать, когда он был совсем маленьким, ходила за ним, одевала его... Она спасла его от болезни, от смерти... Нет, он никогда не мог бы и подумать о подобной низости.

– Рассказывай! – кричала она пронзительным голосом, держа в зубах шпильки для волос.

– Ты не уверишь меня, что с такими глазами, с таким положением, о котором твердит этот болван, она могла остаться равнодушной к белокурому красавцу с девичьей кожей, как ты... Где бы мы ни жили, на Роне, или где в другом месте, мы всюду одинаковы...

Она говорила убежденно, считая всех женщин одинаково доступными капризу, уступающими первому желанию. Он защищался, но, взволнованный, стал припоминать, спрашивая себя, не могла ли когда-нибудь какая-нибудь невинная ласка намекнуть ему об опасности; и, хотя ничего не припомнил, но чистота его любви была уже опорочена, как, чистая камень, поцарапанная ногтем.

– Посмотри, вот головной убор, который носят у вас в провинции!

На роскошные волосы, уложенные двумя широкими бандо, Фанни нашла белую косынку, похожую до известной степени на чепец, который носят девушки Шатонёфа; и, стоя перед ним, в мягких складках своего батистового пеньюара, с горящими глазами, спрашивала:

– Похожа ли я на Дивонну?

Нет, нисколько; она походит лишь на себя в этом чепчике, напоминавшем другой чепчик – Сен-Лазарской тюрьмы, который, говорят, так шел ей в ту минуту, когда она перед лицом целого суда послала прощальный привет своему каторжнику: «Не скучай, друг мой, красные деньки еще вернутся».

Воспоминание об этом причинило ему такую боль, что едва его любовница улеглась, как он загасил свет, не желая ее видеть.

На следующий день утром дядя явился, весело размахивая тростью и крича: «Эй, вы, малютки» с тем развязным и покровительственным видом, какой некогда бывал у Курбебеса, когда он заставал его в объятиях Пелликюль. Он казался еще более возбужденным, чем накануне: виною тому были, разумеется, отель Кюжас и восемь тысяч франков, лежавшие у него в бумажнике. Деньги эти, правда, предназначались для покупки Пибуллетт, но имел же он право истратить из них несколько золотых и

угостить племянницу завтраком за городом?

– А Бушеро? – спросил племянник, который не мог пропускать на службе два дня кряду.

Было условлено, что они позавтракают на Елисейских полях, а затем мужчины отправятся на консультацию.

Но Фена мечтал не об этом. Ему хотелось с шиком проехать в Сэн-Клу, в коляске, с огромным запасом шампанского; завтрак, тем не менее, вышел очаровательным, на террасе ресторана, убранной в японском стиле и осененной акациями, куда доносились звуки дневной репетиции из соседнего кафешантана. Сезар, болтливый, любезный, старался во всю, останавливал лакеев и хвалил метрдотеля за мучной соус; Фанни смеялась глупо и принужденно, как смеются в отдельных кабинетах, что причиняло боль Госсэну, равно как и близость, устанавливавшаяся, помимо него, между дядей и «племянницей».

Можно было подумать, что они были друзьями с детства. Фена, впав за десертом и винами в сентиментальный тон, говорил о Кастеле, о Дивонне и о дорогом Жане; он счастлив, зная, что племянник живет с женщиной положительной, которая сумеет удержать его от легкомысленных поступков. Едва ворочая языком, с потускневшими, влажными глазами, он похлопывал ее по плечу и предупреждал, словно новобрачную, насчет подозрительного характера Жана и давал советы как подойти к нему.

Он отрезвился у Бушеро. Два часа ожидания на первом этаже на площади Вандом, в огромных приемных, высоких и холодных, наполненных молчаливой, томящейся толпой; целый ад страданий, со всеми стадиями которого они познакомились, когда проходили по анфиладе комнат в кабинет знаменитого ученого.

Бушеро, обладавший удивительной памятью, прекрасно помнил госпожу Госсэн, которая приезжала к нему на консультацию из Кастеле десять лет тому назад, в начале своей болезни; он расспросил об изменениях в её течении, перечел старые рецепты и успокоил обоих мужчин насчет появившихся у больной мозговых явлений, которые он приписал употреблению некоторых лекарств. Пока он писал длинное письмо своему брату в Авиньоне, недвижно опустив толстые веки на бегающие пронизательные глазки, дядя и племянник, затаив дыхание, прислушивались к поскрипыванию его пера, и этот звук для них покрывал собой весь шум роскошного Парижа; перед ними вставало все могущество современного врача, последнего жреца, последнего чаяния непобедимого суеверия.

Сезар вышел из кабинета серьезный и успокоенный:

– Я еду в отель укладываться. Видишь ли, милый, парижский воздух мне вреден... Если я останусь, то наделаю глупостей. Поеду вечером с семичасовым поездом, а ты извинишься за меня перед племянницей, не так ли?

Жан не стал его удерживать, напуганный его мальчишеским легкомыслием; но на другой день, когда, проснувшись, он радовался мысли, что дядя вернулся к себе, и водворен дома с Дивонной, дядя вдруг появился с расстроенной физиономией, и беспорядочно одетый:

– Боже милосердый! Дядя, да что с вами случилось?

Упав в кресло, без голоса и без движений, но оживляясь постепенно, дядя рассказал о встрече со знакомыми из эпохи своей дружбы с Курббесом, об обильном обеде и о восьми тысячах франках, проигранных ночью в притоне... А теперь, ни гроша!.. Как вернуться домой, как рассказать об этом Дивонне! А покупка Пибулетта... И, внезапно охваченный отчаяньем, он, закрыв руками глаза, затыкал пальцами уши, рычал, всхлипывал, сердился, ругался со страстностью южанина и изливал угрызения совести в изобличении всей своей жизни. Да, он – позор и несчастье семьи; таких, как он, родные имеют право убивать, как волков. Если бы не великодушные брата, где бы он был теперь?.. На каторге, с ворами и фальшивомонетчиками!

– Дядя, милый дядя!.. – горестно говорил Госсэн, пытаюсь его остановить.

Но дядя, не желая ничего видеть и слышать, наслаждался публичным покаянием в преступлении, которое он рассказал в малейших подробностях, меж тем как Фанни смотрела на него с жалостью и восхищением. По крайней мере у него пламенный темперамент, он прожигатель жизни, а она любила таких; и тронутая до глубины души, она придумывала способы помочь ему. Но каким образом? Уже год, как она ни с кем не видится, у Жана совсем нет знакомых... Вдруг ей припомнилось одно имя: Дешелетт!.. Он должен быть теперь в Париже, и он такой добрый мальчик...

– Но ведь я едва знаком с ним... – сказал Жан.

– Я пойду, я...

– Как! ты хочешь...?

– Почему же нет?

Взгляды их встретились, и они поняли друг друга. Дешелетт был также её любовником, одним из тех любовников одной ночи, которых она едва помнит. Но Жан зато не забывает ни одного из них; они все по порядку записаны у него в голове, как святые в календаре.

– Но если тебе неприятно... – сказала она, смутившись.

Тогда Сезар, прервав вопли на время этого короткого спора, встревоженный, снова обратил к ним взгляд, полный такой отчаянной мольбы, что Жан уступил и, скрепя сердце, согласился... И долгим же показался обоим час, пока они поджидали на балконе возвращения женщины, терзаемый каждый своими мыслями, в которых ни за что не признались бы друг другу.

– Разве так далеко живет этот Дешелетт?

– Да нет улице Ром, в двух шагах отсюда, – отвечал Жан с раздражением, находя, что Фанни слишком долго не возвращается. Он старался успокоить себя, припоминая любовный девиз инженера «нет завтрашнего дня» и пренебрежительный тон, которым он говорил о Сафо, как о сошедшей уже со сцены веселой жизни: но гордость любовника возмущалась в нем, и он почти желал, чтобы Дешелетт нашел ее еще прекрасной и обольстительной. Ах! и нужно же было старому полоумному Сезару открыть все его раны!

Наконец, накидка Фанни показалась из-за угла улицы. Она вошла, сияющая:

– Готово!.. Вот деньги.

Когда восемь тысяч франков лежали перед дядей, он заплакал от радости, хотел выдать расписку, назначить проценты и время уплаты.

– Все это лишнее, дядя... Я не называла вашего имени... Деньги эти одолжены мне, и вы будете моим должником пока захотите.

– За такие одолжения, дитя мое, – отвечал Сезар вне себя от благодарности, – платят дружбой, которой нет конца...

А на вокзале, куда его проводил Госсэн, чтобы на этот раз убедиться в его отъезде, он повторял, со слезами на глазах:

– Что за женщина, что за сокровище!.. Ее надо сделать счастливой, говорю тебе...

Жан был расстроен этим приключением: он чувствовал, что цепь его, и без того тяжелая, смыкается все теснее, и что сливаются две вещи, которые он по врожденной чуткости старался всегда сделать отдельными и различными: его семья и его любовь. Теперь Сезар посвятил его любовницу в свои работы, в свои наслаждения, рассказал ей новости Кастеле; Фанни осуждала упрямство консула в вопросе о виноградниках, говорила о здоровье матери, раздражала Жана неуместными советами и заботливостью. Но ни одного намека на оказанную услугу или на старое приключение Фена, – на это пятно дома Арманди, которое дядя не считал нужным скрыть от нее. Всего раз она воспользовалась этим, как оружием

для отражения удара, при следующих обстоятельствах.

Они возвращались из театра и садились в карету, под дождем, на площади, возле бульваров. Экипаж (то был старый фургон, едущий по городу только после полуночи), долго не мог тронуться с места, кучер заснул, лошадь помахивала мордой. Пока они сидели в ожидании, под защитой крытого экипажа, к дверце спокойно подошел старый извозчик, занятый прилаживанием нахвостника к кнуту и державший его в зубах; он обратился к Фанни хриплым голосом, выдыхая винные пары:

– Добрый вечер... Как поживаешь?

– А, это вы?

Она вздрогнула. но быстро оправилась и тихо сказала своему возлюбленному: «Это мой отец!..»

Её отец, плут, в длинной грязной хламиде, когда-то служившей ливреей, с оторванными металлическими пуговицами, обращавший к ним в газовом освещении свое раздутое, отечное от алкоголя лицо, в котором Госсэну все же почудился правильный и чувственный профиль Фанни и её большие жизнерадостные глаза!.. Не обращая внимания на мужчину, сопровождавшего его дочь, словно не видя его, папаша Легран сообщал ей домашние новости.

– Старуха уже две недели, как лежит в больнице Неккер; здоровье её плохо... Сходи-ка навести ее в ближайший четверг, это ее подбодрит... У меня, слава Богу, брюхо здоровое, как всегда; хорош нахвостник – хорош и кнут. Вот только доходы неважные... Если бы тебе понадобился хороший извозчик помесечно, мне это было бы на руку... Не надо? Тем хуже для нас – и до свиданья, до новой встречи!..

Они вяло пожали друг другу руки; извозчик тронулся.

– Ну, что? видел?.. – пробормотала Фанни; и тотчас же стала рассказывать о своей семье, чего до сих пор избегала делать... «в этом было столько уродливого, низкаго»... Но теперь они лучше знали друг друга; скрывать нечего. Она родилась в «Мулен-оз-Англэ», в предместье, от этого отца, бывшего драгуна, служившего в то время извозчиком между Парижем и Шатильоном, и трактирной служанки, с которой он сошелся между двумя стаканчиками, распитыми у стойки. Она не знала своей матери, умершей от родов; но сердобольные хозяева станции заставили отца признать малютку и платить за нее кормилице. Он не посмел отказаться, потому что сильно задолжал хозяевам, и когда Фанни исполнилось четыре года, он возил ее в своем экипаже, как маленькую собачку, усаживая высоко на козлах под парусинным навесом; ее забавляла быстрая езда по дорогам, убегающие с обеих сторон огни фонарей,

дымящиеся и тяжело дышащие бока животных, нравилось засыпать в темноте, под завыванья ветра, внимая звону бубенцов.

Но Легран скоро стал тяготиться ролью отца семейства; как мало это ни стоило, все же приходилось кормить и одевать маленькую замарашку. Кроме того, она мешала его женитьбе на вдове огородника, а он давно заглядывался на выпуклые дыни и на квадраты капусты, расположенные вдоль дороги. У неё тогда создалось ясное ощущение, что отец желает её смерти; освободиться от ребенка какими бы то ни было средствами – стало навязчивой идеей пьяницы, и если бы сама вдова, добродушная Машом, не взяла ребенка под свое покровительство...

– Да, ведь ты знаешь Машом! – сказала Фанни.

– Как! Та служанка, которую я у тебя видел?..

– Это и была моя мачеха... Она была так добра ко мне в детстве. Я брала ее к себе, желая вырвать ее у негодяя мужа, который, проев все её состояние, нещадно колотил ее и заставлял прислуживать потаскушке, с которой жил... Ах, бедная Машом: она знает, чего стоит красивый мужчина... И что же! когда она ушла от меня, несмотря на все, что я ей говорила, она поспешила снова сойтись с ним, а теперь вот лежит в больнице! И на кого же он похож без нее, старый негодяй! До чего грязен! Точно каменщик! Только и остался один кнут... ...Заметил ли ты, как он его держит?... Даже когда он пьян и еле стоит на ногах, то носит его перед собой, как свечу, и прячет у себя в комнате; только этот предмет и был всегда для него чист... «Хорош нахвостник, хорош и кнут» – его любимая поговорка.

Бессознательно, она говорила о нем, как о постороннем, без отвращения, без стыда; Жан ужасался, слушая ее. Вот так отец!.. Вот так мать!.. Особенно в сравнении со строгим лицом консула и ангельской улыбкой госпожи Госсэн! Вдруг поняв, что таилось в молчании её возлюбленного, какое возмущение против житейской грязи, которой он коснулся в её близости, Фанни сказала с философским спокойствием:

– В конце концов, это бывает во всех семьях, и за это нельзя быть ответственным... у меня – отец Легран; у тебя – дядя Сезар.

Глава 6

«Дорогое мое дитя; пишу тебе, все еще волнуясь большим огорчением, только что пережитым нами: наши девочки пропадали, исчезнув из Кастеле на целый день, на целую ночь, до следующего утра!..»

«В воскресенье, в час завтрака, мы заметили, что малюток нет. Я нарядила их к восьмичасовой обедне, куда должен был вести их консул, потом упустила их из виду, так как хлопотала около твоей матери, которая нервничала более обычного, предчувствуя несчастье, витавшее над домом. Ты ведь знаешь, что после болезни у неё навсегда осталась эта особенность, предвидеть то, что должно случиться; и чем меньше она двигается, тем упорнее работает её мысль.»

«К счастью, она была в спальне; но представь себе всех нас, в зале, в ожидании малюток; их кличут в полях, пастух свистит в раковину, которою созывает баранов, потом Сезар – в одну сторону, я – в другую, Руселин, Тардив, все мы бегаем по Кастеле, и всякий раз при встрече: „Ну, что? Никого не видели“. Под конец, не решились уже спрашивать; с бьющимся сердцем заглядывали в колодцы, искали под высокими чердачными окнами... Ну, выдался денек!.. Я должна была еще поминутно бегать к твоей матери, улыбаться ей со спокойным видом, объяснять отсутствие малюток тем, что я услала их на воскресенье к тетке в Вилламури. Казалось, она верит этому; но вечером, когда я сидела у её постели, поглядывая в окошко на огни, мелькавшие в долине и по Роне, в поисках за детьми, я услышала, как она тихонько плакала, и спросила ее о причине слез. „Я плачу о том, что от меня скрывают, но что я, тем не менее, угадала“... отвечала она тем детским тоном, который ей вернули её страдания; мы больше не говорили, но продолжали беспокоиться обе, погруженные каждая в свое горе...»

«Наконец, дорогой, чтобы не слишком затягивать эту мучительную историю, скажу тебе, что в понедельник утром малютки были приведены к нам рабочими, которых твой дядя держит на острове и которые нашли их на куче лоз, бледных от холода и голода, после целой ночи проведенной на открытом воздухе, на воде. Вот, что они рассказали нам в чистоте своих детских сердец. Уже давно их мучило желание поступить так, как сделали их святые – Марта и Мария, жизнеописание которых они читали, т. е. отправиться на беспарусной лодке, без весел, без провизии, проповедовать Евангелие, куда принесет их дуновение Божие. Итак, в воскресенье после

обедни, они отвязали рыболовную лодку и, опустившись на колени на дно ее, как святые жены, когда их уносило течение, медленно уплыли и застряли в камышах Пибулетта, несмотря на весенний разлив, на страшные порывы ветра. Да, Господь Бог сохранил и вернул нам наших дорогих девочек; только праздничные нагрудники их были измяты, да попорчена позолота их молитвенников! Не хватило мужества бранить их; их встретили горячие поцелуи и раскрытые объятия; но от перенесенного страха мы все заболели.»

«Наиболее пострадала твоя мать, и, хотя ей ничего не говорили, она почувствовала, по её словам, дыхание смерти, пронесшееся над Кастеле; всегда спокойная, веселая, она теперь хранит печаль, которую ничто не может исцелить, несмотря на то, что отец, я и все мы окружаем ее нежными попечениями. А если я скажу тебе, Жан, что она томится и беспокоится, главным образом, о тебе? Она не смеет высказать этого при отце, который не захочет отрывать тебя от работы; но ты не был у нас после экзамена, как обещал. Сделай нам этот подарок к Рождеству, и пусть к нашей больной вернется её добрая улыбка. Если бы ты знал, когда теряешь стариков, как сожалеешь о том, что не уделял им больше времени при их жизни!..»

Жан читал это письмо, стоя у окна, в которое проникал из тумана ленивый зимний день, и наслаждался его наивным ароматом, дорогими воспоминаниями о ласках и солнце.

– Что это?... Покажи...

Фанни только что проснулась от желтоватого света, когда раздвинули занавески, вся опухшая от сна, и машинально протянула руку к пачке мэрилэндского табаку, лежавшей на ночном столике. Он колебался, зная, что одно имя Дивонны вызывает в ней жестокую ревность; но как утаить письмо, происхождение и формат которого она узнала?

Вначале детская выходка растрогала и умилила ее, и она продолжала читать дальше, крутя папироску и откинувшись на подушки, в волнах темных волос, с обнаженными плечами и шеей. Но конец привел ее в ярость, она скомкала письмо и швырнула через всю комнату: – я тебе покажу святых женщин!.. Все это выдумки, чтобы только заставить тебя приехать... Она тоскует по красавцу-племяннику, эта...

Он хотел установить, удержать то низкое слово, которое у неё вырвалось, и за которым потекло еще много других. Никогда в его присутствии она так грубо не раздражалась потоком грязной злобы, словно лопнувшая сточная труба, испускающая свое зловонное содержимое. Весь жаргон её прошлого – прошлого бездомной продажной женщины – теснил

ей глотку и лился из её уст.

Нетрудно было понять, чего они хотят. Сезар рассказал все, и на семейном совете они решили порвать их связь и привлечь его на родину, с Дивонной в виде приманки.

– Во-первых знай, что если ты поедешь, я тотчас напишу твоему рогоносцу-дяде... Я предупрежу... Нет, это уже слишком!..

Она злобно приподнималась на постели, бледная, с осунувшимся лицом, с увеличенными чертами, как злой зверь, готовясь к прыжку.

Госсэн вспомнил, что видел ее такой на улице Аркад; теперь эта рычащая злоба была направлена против него, и внушала ему искушение броситься на любовницу и избить ее, так как в чувственной плотской любви, где нет места уважению к любимому существу, в гневе и в ласках неизменно проявляется грубость. Он испугался самого себя и поспешил уйти на службу, возмущаясь той жизнью, которую он себе устроил. Это ему урок за то, что он подчинился такой женщине!.. Сколько низостей, какой ужас! Сестры, мать, всем досталось!.. Как! не иметь даже права поехать к родным? Да в какую же тюрьму, он себя запер! И перед ним встала вся история их отношений: он видел, как прекрасные, обнаженные руки египтянки, обвившие его шею вечером на памятном балу, охватили его, властные и сильные, и разлучили его с семьей, с друзьями. Теперь, решение его принято! В этот же вечер, во что бы то ни стало, он едет в Кастеле.

Написав несколько бумаг и получив в министерстве отпуск, он вернулся домой, ожидая ужасной сцены, готовый на все, даже на разрыв. Но кроткое приветствие Фанни при встрече, её опухшие глаза, щеки, как бы размякшие от слез, отняли у него всю силу воли.

– Я еду сегодня вечером... – сказал он, делаясь непреклонным.

– Ты прав, мой друг... Повидай мать, а главное... – Она ласково подошла к нему. – Забудь, какая я была злая. Я слишком люблю тебя, это мое безумие...

Весь остальной день, с кокетливой заботливостью занимаясь укладкой чемодана и напоминая своей кротостью первое время их совместной жизни, она хранила вид раскаяния, быть может, в надежде удержать его. Меж тем она ни разу не попросила: «Останься»... и когда в последнюю минуту окончательных приготовлений, потеряв эту надежду, она прижалась к своему возлюбленному, как бы стараясь наполнить его собою на все время его отсутствия, её прощание, её поцелуи говорили только одно: «Скажи, Жан, ты не сердишься?..»

О, какое блаженство проснуться утром в своей детской, с душой,

полной горячих родственных объятий и радостных излиятий встречи, увидеть вновь на пологие узкой кровати яркую полосу света, которую в детстве искали его глаза при пробуждении, услышать крик павлинов, скрипение блока в колодце, спешный топот бегущего и толкающегося стада; распахнув со стуком ставни, увидеть чудный горячий свет, вливающийся водопадом, как струя, из-под плотины, и роскошный горизонт до самой Роны – склоны, покрытые виноградниками, кипарисами, оливковыми деревьями и отливающими в синий цвет сосновыми лесами; над ними чистое, голубое, без малейшей дымки тумана, несмотря на раннее утро, зеленоватое небо, всю ночь освежаемое северным ветром, бодрым и сильным дуновением которого еще полна широкая долина.

Жан сравнивал это пробуждение с парижским, под грязным, как и его любовь, небом и чувствовал себя счастливым и свободным. Он сошел вниз. Дом, белый на солнце, еще не пробуждался, все ставни были закрыты, словно глаза; он был счастлив этой минутой одиночества, дававшего ему возможность обратиться с силами для духовного выздоровления, которое, он чувствовал, в нем уже начиналось.

Он сделал несколько шагов по террасе и стал подниматься по идущей кверху аллее парка; парком здесь называли лес из елей и миртов, безо всякого порядка разбросанных по каменистому склону Кастеле; его пересекали неправильные тропинки, скользкие от покрывавшей их хвои. Пес Миракль, старый и хромой, вышел из конуры и молчаливо следовал за ним по пятам; в былое время они так часто совершали вдвоем утренние прогулки!

У входа в виноградник, с оградой из кипарисов, склонявших свои остроконечные вершины, собака остановилась в нерешительности; она знала, что толстый слой песка – новое средство от филлоксеры, применявшееся в эту минуту консулом, – окажется не под силу для её старых лап, также как и ступени террасы. Но радость сопровождать хозяина заставила ее решиться; в каждом трудном месте она боязливо ворчала, делала мучительные усилия, остановки и неуклюжие движения, напоминавшие краба на скале. Жан не замечал ее, весь поглощенный новыми насаждениями аликанте, о которых накануне так много говорил ему отец. Ростки на ровном, блестящем песке оказались прекрасными. Наконец-то бедняга будет награжден за свои упорные труды; поля Кастеле вернутся к жизни, меж тем как Нерт, Эрмитаж, все крупные виноградники юга гибнут!

Перед ним вдруг появился белый чепчик. То была Дивонна, встававшая в доме раньше всех; в руке у неё был садовый нож и еще какой-

то предмет, который она отбросила, меж тем как её щеки, всегда матово-бледные, зарделись ярким румянцем.

– Это ты, Жан?.. Напугал меня... Я думала, что это отец... – Овладев собою, она поцеловала его: – Хорошо ли спал?

– Очень хорошо, тетя; но почему бы вам бояться прихода отца?..

– Почему?..

Она подняла росток лозы, только что вырванный из земли:

– Не правда ли, консул говорил тебе, что на этот раз он ручается за успех... Как же! Вот и здесь...

Жан разглядывал желтоватый мох, внедрившийся в лозу, едва заметную плесень, разрушавшую, однако, мало-помалу целые провинции; этот бесконечно малый, но несокрушимый разрушитель, в это чудное утро, под животворным солнцем казался какой-то насмешкой природы.

– Это начало... Через три месяца все поле будет уничтожено, и отец снова примется за работу, потому что тут задето его самолюбие. Начнутся новые посадки, новые средства до той поры, когда...

Жест отчаяния закончил и подчеркнул её слова.

– Правда? Дела значит плохи?

– О! ты знаешь консула... Он ничего не говорит, выдает мне деньги на месяц; но я вижу, как он озабочен. Ездит в Авиньон, в Оранж: ищет денег...

– А Сезар? А его система орошения? – спросил молодой человек, озадаченный слышанным.

– Благодарение Богу, с этой стороны все благополучно. Последний сбор дал пятьдесят бочек вина, а в этом году будет вдвое больше. В виду успеха, консул уступил брату все виноградники в долине, лежавшие до сих пор под паром, и усеянные мертвыми лозами, словно деревенское кладбище; теперь они под водой на три месяца...

И гордая работой мужа, своего Фена, уроженка Прованса показала Жану с холма, на котором они стояли, огромные пруды, окруженные невысокими плотинами из извести, как это делают в солончаках.

– Через два года этот способ возделывания лозы принесет плоды; через два года будут доходы и с Пибулетта, и с острова Ламот, купленного дядей втихомолку... Тогда мы разбогатеем... Но, до тех пор надо держаться, пусть каждый вкладывает свое, приносит жертвы...

Она говорила о жертвах весело, как женщина хорошо с ними знакомая, и так увлекательно, что Жан, под влиянием внезапной мысли, ответил ей в тон:

– Каждый принесет свою жертву, Дивонна...

В тот же день он написал Фанни, что родные не могут дольше оказывать ему правильной поддержки, что ему придется ограничиться жалованьем, получаемым в министерстве, и что при этих условиях жить вдвоем невыносимо. Это значило порвать с ней раньше, чем он сам думал, за три-четыре года до своего отъезда; но он рассчитывал на то, что его любовница пойдет на столь убедительные доводы, отнесется к нему и к его тяжелому положению с сочувствием, и поможет ему выполнить свой грустный долг.

Была-ли то жертва? Не являлось-ли наоборот, облегчением, возможность – покончить-с жизнью, казавшейся ему гнусной и нездоровой, особенно с тех пор, как он вернулся к природе, к семье, к простым, прямым привязанностям?... Написав письмо без борьбы, без страданий, он надеялся, что от ответа, яростного, и полного угроз и безумств, его защитит верная и честная привязанность добросердечных людей, окружавших его, пример гордого, лояльного отца, искренняя улыбка маленьких «святых жен», а также и широкие, мирные горизонты, здоровый горный воздух, высокий небесный свод, быстрая пленительная река; когда он вспоминал о своей страсти и о тех мерзостях, которых она была полна, ему казалось, что он выздоравливает от злокачественной лихорадки, вроде той, которую вызывают болотные испарения.

Пять-шесть дней после нанесения этого тяжкого удара протекли спокойно. Утром и вечером Жан ходил на почту и возвращался с пустыми руками и смущенный. Что она делает? Что она хочет предпринять и почему не отвечает? Все его помыслы были устремлены на это. А ночью, когда в Кастеле все спали под убаюкивающий шум ветра, гулявшего по длинным коридорам, они говорили все о том же, вдвоем с Сезаром, в маленькой детской комнате.

– Она может приехать!.. – говорил дядя; его беспокойство усугублялось тем, что в письмо племянника с извещением о разрыве, он вложил два векселя сроком на шесть месяцев и на год, на сумму своего долга с процентами. Как уплатит он по этим векселям? Как объяснит Дивонне? Он начинал дрожать при одной мысли об этом и доставлял тяжелые минуты племяннику, когда, после долгой ночной беседы, он, выколачивая трубку, грустно говорил, с вытянутым лицом:

– Ну, покойной ночи... Во всяком случае, ты поступил хорошо.

Наконец, ответ пришел, и с первых же строк: «Милый мой, я не писала тебе до сих пор потому, что хотела доказать тебе не на словах, а на деле, как я тебя люблю и понимаю»... Жан остановился, пораженный тем, что слышит словно симфонию вместо боевого сигнала, которого ожидал. Он

быстро перевернул последнюю страницу и прочел «...остаться до самой смерти твоей собакой, которую ты можешь бить, но которая любит тебя и страстно целует...»

Быть может она не получила его письма? Но прочтя письмо вновь без пропусков, строка за строкой, со слезами на глазах, он должен был признать, что это действительно, ответ; в нем говорилось, что Фанни давно ожидала вести о разорении Кастеле и о неизбежно связанном с этим разрыве. Тотчас же принялась она за поиски дела, чтобы не быть ему в тягость, и взялась заведывать меблированными комнатами, на улице Буа-де-Булонь, принадлежавшими какой-то очень богатой женщине. Сто франков в месяц, полное содержание и свободные воскресенья...

«Понимаешь ли, милый, целый день в неделю для нашей любви; ты потребуешь, конечно, большего? Ты вознаградишь меня за то усилие, которое я делаю, работая в первый раз в жизни, за мое добровольное рабство днем и ночью, связанное с унижениями, которых ты не можешь себе представить, и которые будут мне очень тягостны при моей страсти к свободе... Но я испытываю особое удовлетворение, страдая из любви к тебе. Я так многим тебе обязана – ты заставил меня понять так много хороших, честных вещей, о которых мне никто раньше не говорил!.. Ах, если бы мы встретились раньше!.. Но ты еще не умел ходить, когда я уже переходила из рук в руки. И однако, ни один мужчина не может похвастать, что внушил мне подобное решение, с целью удержать его еще немного... Теперь можешь вернуться, когда захочешь, квартира очищена. Я увезла все мои вещи; это ведь самое тяжелое – перетряхивать ящики и воспоминанья. Остался лишь мой портрет, который тебе ничего не будет стоить; я прошу для него только добрых взглядов. Ах, друг мой, друг мой... В конце концов, если ты оставишь для меня воскресенья и маленькое местечко на шее, знаешь...» И нежности, и ласки, и чувственное смакование страстных слов, заставлявшие любовника прижимать к лицу шелковистую бумагу, словно от неё исходила теплая, человеческая ласка...

– Она пишет о моих векселях? – робко спросил дядя Сезар.

– Она присылает их вам обратно... Вы заплатите, когда разбогатеете...

Дядя вздохнул с облегчением, и щурясь от удовольствия, с важностью честного человека и с сильным акцентом южанина сказал:

– Знаешь, что я скажу тебе? Эта женщина – святая.

Потом, со свойственной ему подвижностью, отсутствием логики и памяти, что составляло одну из забавнейших сторон его характера, он перескочил на мысли совсем иного порядка:

– А какая страсть, мой милый, какой огонь! У меня рот сохнет как

тогда, когда Курбебес читал мне письма своей Морна...

И Жану снова пришлось пережить первое путешествие дяди в Париж со всеми его подробностями: Отель Кюжас, Пеликюль... но он не слушал и, облокотясь на окно, смотрел в тихую ночь, залитую светом луны, такой полной и блестящей, что петухи, обманутые светом, приветствовали ее, как занимающийся день.

Значит существует искупление через любовь, о котором говорят поэты! И он гордился мыслью, что все великие знаменитости, которых любила Фанни до него, не только не способствовали её возрождению, но развращали ее еще больше, меж тем как он, силой своей порядочности, вырвет ее, быть может, из когтей порока.

Он был благодарен ей за найденный ею средний выход, за этот полуразрыв, в котором она освоится с новой привычкой к труду, что будет нелегко для её беспечной натуры; на следующий день он написал ей письмо в отеческом тоне, одобряя её перемену жизни, беспокоясь о характере тех меблированных комнат, которыми она заведывала, об их жильцах и посетителях; так как знал её снисходительность и легкость, с которой она говорила, примиряясь со многим: «Чего же ты хочешь? Так уж устроено на свете»!..

В целом ряде писем, с детским послушанием, описала Фанни ему свой отель, настоящий семейный пансион для иностранцев. В первом этаже живут перуанцы: отец, мать, дети и прислуга; во втором – русские и богатый голландец, продавец кораллов. В комнатах третьего этажа помещаются два наездника с ипподрома, шикарные англичане, очень порядочные, и наконец, симпатичная семья: мадемуазель Минна Фогель, гитаристка из Штутгарта, с братом Лео, чахоточным мальчиком; он вынужден прервать свое обучение на кларнете в Парижской консерватории, а приехавшая сестра ухаживает за ним, не имея других средств к жизни, кроме добытых путем нескольких концертов для уплаты за комнаты и пансион.

«Все это трогательно и достойно всякого уважения, как видишь, мой милый. Меня принимают здесь за вдову и относятся ко мне с большим вниманием. Да я бы и не допустила, чтобы было иначе; твоя жена должна быть уважаема. Когда я говорю „твоя жена“, пойми меня. Я знаю, что в один прекрасный день, ты уйдешь от меня, я потеряю тебя, но после этого у меня не будет другого; я навсегда останусь твоей, я сохраню воспоминание о твоих ласках и добрых чувствах, которые ты во мне пробудил... Смешно, не правда ли: добродетельная Сафо!.. Так будет, когда ты уйдешь; но для тебя я буду такой, какую ты меня любил – безумной,

жгучей... Я обожаю тебя».

Жана охватила глубокая, тоскливая печаль. Возвратившийся блудный сын, после радостной встречи, после заклания жирного тельца и нежных излиятий, всегда страдает воспоминаниями о бродячей жизни, тоскует о горьких желудях и о ленивом стаде. Разочарование несут ему все люди и вещи, опустошенные и обесцвеченные. Зимние утра Прованса потеряли для него всю свою здоровую прелесть, не привлекала его и охота на красивую темно-красную выдру вдоль крутого берега, ни стрельба по черным уткам, на прудах старика Абриэ. Ветер казался Жану резким, вода унылой, прогулки по затопленным виноградникам с дядей, объясняющим свою систему шлюзов, отводов и канав – непомерно скучными.

Деревня, на которую в первые дни он смотрел сквозь призму своих веселых детских прогулок, состояла из ветхих домишек, частью заброшенных, от которых веяло смертью и запустением итальянского поселка; отправляясь на почту, он должен был, стоя у каждого ветхого порога, выслушивать пустословие стариков, искривленных, как деревья выросшие на ветру, с обрывками вязанных чулков на руках, в виде варежек и старух с подбородками словно из желтого букса, в тугих повязках, с маленькими живыми и блестящими глазками, какие сверкают часто из глубины расщелин в старых стенах.

Все те же жалобы на гибель лоз, на вырождение марены, на болезни тутовых деревьев, на все семь египетских казней, губящих прекрасный Прованс; чтобы избежать всего этого, он возвращался иногда переулочками, сбегавшими по склону, вдоль стен старого папского замка; эти пустынные тропинки поросли кустарником, высокой целебной травой святого Рока от лишаев, которая была как раз к месту в этом средневековом уголке, над дорогой, осененной высокими зубчатыми развалинами.

Но тут он обыкновенно встречал священника Малассаня, только что отслужившего обедню и спускавшегося крупными шагами, с манжетами, сбившимися на бок, придерживая обеими руками рясу и оберегая ее от колючек и смолы. Священник останавливался и начинал громить безбожие крестьян и подлость муниципального совета; проклинал поля, скотину, людей, мошенников, которые не ходят в церковь, хоронят покойников без отпевания и лечатся спиритизмом и магнетизмом, лишь бы не звать священника и доктора:

– Да, сударь, спиритизмом!.. Вот до чего дошли наши мужички в Комта... А вы хотите, чтобы виноградники не гибли!

Жан, у которого в кармане лежало только что вскрытое, пламенное послание Фанни, слушал, хотя мысли его были далеко; как можно быстрее

старался он ускользнуть от поучений и, вернувшись в Кастеле, устраивался в углублении скалы – по местному выражению в «ленивом местечке», – защищенном от бушующего вокруг ветра и словно собравшего в себе все тепло отраженных солнечных лучей.

Он выбирал самое укромное, самое отдаленное из этих местечек, поросшее терновником и стелющимися дубками, садился и принимался читать; мало-помалу от аромата письма, от ласкающих слов, от вызываемых ими образов, он начинал ощущать чувственное опьянение; пульс его бился сильнее, его охватывали видения, от которых, как лишние, пропадали река, цветущие острова, деревни в разселинах Альпилля, и вся широкая долина, где бушевал ветер и волнами гнал сверкавшую на солнце пыль. Весь он был там, в их комнатке вблизи вокзала, с серой крышей, отдаваясь безумным ласкам, весь во власти жгучих желаний, заставлявших обоих, словно утопавших, сжимать друг друга в судорожных объятиях...

Вдруг, раздавались шаги на тропинке, звонкий смех: «Он здесь!..» появлялись сестры, с босыми ножками, мелькавшими по траве; их вел старый Миракль, победоносно помахивавший хвостом и исполненный гордости, так как напал на след хозяина: но Жан отгонял его пинком ноги и отклонял робкие приглашения детей поиграть в жмурки или побегать. И, однако, он любил маленьких сестреночек-близнецов, обожавших взрослого, всегда далекого брата; ради них он сам стал ребенком с минуты своего приезда; его забавлял контраст между этими хорошенькими созданиями, рожденными одновременно и столь непохожими друг на друга. Одна – высокая брюнетка, с волнистыми волосами, склонная к мистицизму и в то же время настойчивая; это она, восторженная и увлеченная грозными проповедями священника Малассаня, придумала уплыть на лодке; маленькая Мария Египетская увлекла белокурую Марту, несколько вялую и кроткую, похожую на мать и на брата.

Наивные детские ласки, соприкасавшиеся с манящим запахом духов, которым веяло от письма любовницы, в ту минуту, как он предавался воспоминаниям, неприятно стесняли его. – «Нет, оставьте... мне надо заниматься...» – И он шел к себе, с намерением запереться, как вдруг голос отца звал его:

– Это ты, Жан?.. Послушай...

Почта приносила новые поводы впасть в мрак этому и без того уже угрюмому по натуре человеку, сохранившему от своего пребывания на Востоке молчаливую важность, нарушаемую лишь внезапными приливами воспоминаний, вырывавшихся под треск горящих сухих поленьев камина: «Когда я был консулом в Гонконге...» Жан слушал, как отец читал и

обсуждал утренние газеты, а сам смотрел на бронзовую статую Сафо Каудалея, стоявшую на камине, с руками охватившими колена, с лирой, стоящей подле, («полная лира», припоминалось ему), купленной двадцать лет тому назад, когда отделялся и украшался Кастеле; эта базарная вещь, надоевшая ему в парижских витринах, здесь, в одиночестве, вызывала в нем любовное волнение, желание поцеловать эти плечи, разнять холодные гладкие руки и заставить ее сказать: «Сафо – твоя, только твоя!»

Соблазнительный образ преследовал его, когда он выходил из дому, шел в ногу с ним по широкой парадной лестнице. Маятник старинных часов словно выстукивал имя Сафо, ветер нашептывал его в длинных, холодных с каменным полом, коридорах летнего дома; это имя встречал он и в книгах, которые брал из деревенской библиотеки, в старых томах, с красным обрезом и с крошками его детских завтраков, оставшихся между страниц. Образ любовницы неотступно преследовал его и в комнате матери, где Дивонна причесывала больную, поднимая её чудные, седые волосы над лицом, сохранившим румянец и спокойствие, несмотря на постоянные страдания.

– Вот и наш Жан! – говорила мать. Но тетка, всегда совершавшая сама туалет невестки, с засученными рукавами, с обнаженной шеей, в маленьком чепчике, напоминала ему другие утра, вызывала в его памяти образ любовницы, встающей с постели, в облаках первой выкуренной папироски. Он злился на себя за эти мысли... и особенно в этой комнате! Но что делать, как избежать их?

– Наш мальчик так переменялся, сестра, – грустно говорила госпожа Госсэн. – Что с ним? – И они вместе старались найти разгадку. Дивонна напрягала свой простодушный ум, хотела расспросить молодого человека; но он избегал оставаться с ней наедине.

Однажды, после долгих поисков, она нашла его на берегу, в «ленивом» уголке, охваченного лихорадкой после чтения писем и порочных мыслей. Он хотел встать, с угрюмым видом... Но она удержала его и села возле него на горячий камень:

– Разве ты не любишь меня больше?.. Разве я для тебя уже не та Дивонна, которой ты поверял все свои горести?

– О, да, конечно... – бормотал он, смущенный её нежностью, и отводя взгляд в сторону, не желая выдать того, над чем он только что думал – любовных призывов, обращенных к нему, восклицаний, страстного бреда издалека.

– Что с тобой?.. Отчего ты печален?.. – тихо спросила Дивонна, с лаской в голосе и в движениях, обращаясь с ним, словно с ребенком. Да

ведь он и был её ребенком, для неё он был все еще десятилетним мальчиком, едва вышедшим из-под опеки родных.

Жан, сгоравший уже после чтения письма, воспламенился под влиянием волнующей близости и обаяния этого тела, этих свежих губ, казавшихся еще ярче от морского ветра, разметавшего её волосы и откинувшего их со лба тонкими завитками, по парижской моде. А, припомнив уроки Сафо: «все женщины одинаковы... в присутствии мужчины у них только одна мысль в голове...» он принял за вызов счастливую улыбку деревенской жительницы, равно как и движения, которыми она старалась удержать его на ласковом допросе.

Вдруг он почувствовал, что он во власти соблазна, кровь ударила ему в голову; он сделал усилие, чтобы овладеть собою, и его охватила судорожная дрожь. Дивонна испугалась, видя его бледным, со стучащими зубами. «Бедняжка... у него лихорадка...» Нежным, необдуманном движением она развязала платок, окутывавший её стан и хотела накинуть его Жану на плечи; но вдруг почувствовала, как сильные объятия охватили, сжали ее, и безумные поцелуи ожгли ей шею, плечи, все тело, распаленное и сверкавшее на солнце. Она не успела ни крикнуть, ни оттолкнуть его, быть может даже не дала себе отчета в том, что произошло. «Ах, я с ума схожу!.. схожу с ума!..» Он быстро удалялся уже по голой возвышенности, и камни зловеще катились из-под его ног.

В этот день, за завтраком Жан заявил, что уезжает вечером, так как получил приказ из министерства.

– Как, уже уезжаешь?.. А говорил... Да ведь ты только что приехал!.. – Раздались восклицания, упрасиванья. Он не мог оставаться дольше у родных, так как все его привязанности были проникнуты тревожным и развращающим влиянием Сафо. К тому же, разве он не принес уже семье самой большой жертвы, отказавшись от совместной жизни с этой женщиной? Полный разрыв совершится позже; тогда он вернется и будет любить и целовать всех этих добряков без стыда и стеснения.

Наступила ночь, весь дом уснул и огни были погашены, когда Сезар вернулся, проводив племянника на поезд в Авиньон. Задав лошади овса и взглянув испытующим взором на небо, взором, которым земледельцы угадывают погоду, он хотел было войти уже в дом, как вдруг заметил белую тень на одной из скамеек террасы:

– Это ты Дивонна.

– Да, поджидаю тебя...

Целые дни Дивонна была занята и разлучена со своим Фена, которого обожала; поэтому вечером они устраивали себе иногда такие свидания,

чтобы поболтать и погулять вместе. Был ли то результат короткой сцены между нею и Жаном – которую, подумав, она поняла лучше, нежели хотела – или следствие волнения, с которым она смотрела, как бедная мать тихо плакала целый день, но голос её упал, явилась тревога и возбужденность мысли, необычайная у этой спокойной женщины, всегда полной сознания долга.

– Известно ли тебе что-нибудь? Почему он так быстро покинул нас?

Она не верила выдумке о министерстве и подозревала какую-нибудь дурную привязанность, отнимавшую дитя у семьи. Столько опасностей, столько роковых встреч в этом гибельном Париже!

Сезар, ничего не умевший скрыть от нее, признался, что в жизни Жана действительно была женщина, но очень добрая, неспособная заставить его отвернуться от родных; он стал рассказывать о её преданности, о трогательных письмах, и особенно похвалил её мужественную готовность работать, что деревенской жительнице казалось весьма естественным «Надо же работать, чтобы жить».

– Да, но не для женщин этого сорта... – сказал Сезар.

– Значит Жан живет с негодной женщиной?.. И ты бывал у них...

– Клянусь, Дивонна, что с тех пор, как она узнала Жана, нет женщины более чистой, более честной... Любовь совсем переродила ее.

Эти слова показались Дивонне чересчур мудреными, она не понимала их. По её мнению, женщина эта принадлежала к презренной категории тех женщин, которых она называла «дурными» и мысль, что Жан стал добычею одной из этих тварей, возмущала ее. Если бы консул знал об этом!..

Сезар пытался успокоить ее и всеми морщинками своего доброго, но несколько легкомысленного, лица, уверял что в возрасте Жана нельзя обойтись без женщины. – Тогда пусть женится, чёрт возьми! – сказала она с трогательной наивностью.

– Наконец, они уже и не живут вместе...

Тогда она сказала серьезно:

– Послушай Сезар, ты знаешь нашу поговорку: несчастье всегда переживает того, кто его причинил. Если правда то, что ты рассказываешь, если Жан вытащил эту женщину из грязи, быть может сам он запачкался при этой печальной работе? Возможно, что он сделал ее лучше и честнее; но кто поручится, что зло, бывшее в ней, не испортило окончательно нашего мальчика?

Они вернулись на террасу. Спокойная, прозрачная ночь окутала молчаливую долину, где живыми были только струящийся свет луны,

зыбкая река, да пруды, сверкавшие, как лужи серебра. Все дышало тишиной, уединением и великим покоем сна без грез. Внезапно поезд, шедший полным ходом по берегу Роны, прогремел глухим грохотом.

– О, этот Париж! – сказала Дивонна, грозя кулаком этому врагу, которому провинция шлет всевозможные проклятия... – Париж! Что мы отдаем ему, и что он нам возвращает!

Глава 7

В этот туманный день, к четырем часам было холодно и темно, даже в аллее Елисейских Полей, по которой глухо и мягко, словно по вате, катились экипажи. Жан с трудом прочел в глубине палисадника, калитка которого была открыта, надпись золотыми буквами, высоко над антресолями дома, внешний вид которого по роскоши и спокойствию напоминал английский коттедж: «Меблированные комнаты с семейным столом...» У тротуара перед домом стояла карета.

Толкнув дверь конторы, Жан тотчас увидел ту, кого искал; она сидела у окна, перелистывая толстую счетную книгу, против другой женщины, нарядной и высокой, с носовым платком и мешочкам в руках.

– Что вам угодно, сударь?.. – спросила Фанни; но тут же, узнав его, вскочила, пораженная, и подойдя к даме сказала тихо: – Это мой мальчик... – Та оглядела Госсэна с головы до ног, с хладнокровием и опытом знатока, и сказала громко, без всякого стеснения: – Поцелуйтесь, дети... Я не смотрю на вас. – Потом заняла место Фанни и продолжала поверку счетов.

Фанни и Жан держали друг друга за руки и бормотали глупые фразы: «Как поживаешь?» – «Так себе, благодарю»... «Значит ты выехал вчера вечером?»... Но волнение в голосе придавало словам их истинный смысл. Присев на диван и придя немного в себя, Фанни сказала тихо: – Ты не узнал мою хозяйку?.. Ты ее встречал... на балу у Дешелетта... Она была одета испанской невестой... Невеста, правда, несколько поблекшая.

– Так это?..

– Розарио Санчес, любовница Де-Поттера.

Эта Розарио, или Роза, как гласило её имя, написанное на всех зеркалах ночных ресторанов, всегда с прибавлением какой-нибудь сальности, была в старину наездницей на Ипподроме и славилась в мире кутил своей циничной распущенностью, зычной глоткой и ударами хлыста, которыми награждала членов клуба; последние весьма высоко ценили их и подчинялись ей, как лошади.

Испанка из Орана, она была скорее эффектна, чем хороша, и при вечернем освещении производила и сейчас известное впечатление своими черными, подведенными глазами и сросшимися бровями; но здесь, даже в этом полусвете, ей можно было смело дать все пятьдесят лет, отражавшиеся на плоском, жестком лице, со вздувшейся и желтой, как у

лимона её родины, кожей. Будучи подругой Фанни Легран, она в течение ряда лет опекала ее в её любовных похождениях, и одно имя Розы наводило ужас на любовников Сафо.

Фанни поняла, почему задрожала рука Жана, и поспешила оправдаться. К кому же было обратиться, чтобы найти место? Она была в затруднении. К тому же, Роза ведет теперь спокойную жизнь: она богата, и живет в своем отеле на улице Виллье, или на своей вилле в Ангиене, принимая старых друзей, но любовника имеет лишь одного – своего неизменного композитора.

– Поттера? – спросил Жан... – Мне казалось, что он женат?

– Да... женат; кажется даже на хорошенькой женщине, и у него есть дети... Но это не помешало ему вернуться к прежней... И если бы ты видел, как она говорит с ним, как третирует его!.. Да, ему туго приходится... – Она пожимала ему руку с нежным упреком. В эту минуту дама прервала чтение и обратилась к мешочку, прыгавшему на конце шнурка:

– Ну же, сиди смирно, говорят тебе!.. – А затем сказала управительнице тоном приказания: – подай Бичито кусок сахару.

Фанни встала, принесла кусок сахару, и, приблизив его к отверстию мешочка, произнесла несколько ласковых, детских слов. – «Взгляни, какой хорошенький зверек... – сказала она своему любовнику, показывая укутанное ватой животное, вроде большой, уродливой ящерицы, зубастое, покрытое бородавками, с наростом на голове в виде капюшона, сидевшим на трясучем студенистом теле; то был хамелеон, присланный Розе из Алжира, и она охраняла его от суровой парижской зимы, окружая его теплом и заботами. Она любила его, как никого в жизни не любила; и Жан понял по угодливым приемам Фанни, какое место в доме занимало это ужасное животное.

Дама захлопнула книгу, собираясь ехать. – Сносно для первого месяца... Только будь экономнее со свечами.

Она окинула хозяйским взглядом маленькую, чисто убранную гостиную, с мебелью обитой тисненным бархатом, сдула пыль с растения, стоявшего на столике, заметила дырочку в гипюровой занавеске окна; наконец с выразительным взглядом сказала молодым людям. – Только, милые мои, пожалуйста без глупостей... Мой дом безусловно приличный...» и, усевшись в экипаж, покатила в Булонский лес на обычную прогулку.

– Видишь, как все это несносно!.. – сказала Фанни. – Она и её мать мучают меня своими посещениями два раза в неделю. Мать еще ужаснее,

еще жаднее... Нужна вся моя любовь к тебе, поверь, чтобы тянуть эту лямку в этом противном доме... Наконец, ты тут и еще мой... Я так боялась... – Она обняла его, прильнув к нему длительным поцелуем, и в его ответном трепете нашла уверенность, что он еще принадлежит ей. Но в коридоре слышны были шаги, приходилось быть настороже. Когда внесли лампу, она села на обычное место и взяла свое рукоделие; он сел рядом, как будто пришел с визитом...

– Не правда ли, я изменилась?.. Немного осталось от прежней Сафо...

Улыбаясь, она показывала вязальный крючок, которым двигала неловко, словно маленькая девочка. Она прежде терпеть не могла вязания; чтение, рояль, папироска или стряпня с засученными рукавами любимого блюда – других занятий у неё не было.

Но что было делать здесь? О рояле, стоявшем в гостиной, нечего было и думать, она целый день неотлучно должна быть в конторе... Романы? Она знала так много настоящих приключений! Тоскуя по запрещенной папироске, она стала вязать кружева; давая работу рукам, вязанье оставляет свободу мысли – и Фанни поняла пристрастие женщин к различным рукоделиям, которые раньше презирала.

Пока она неловко старалась нацепить петлю, со вниманием неопытной вязальщицы, Жан наблюдал ее, спокойную, в простом платье со стоячим воротничком, гладко зачесанными волосами на круглой, античной головке, с видом благоразумным и безупречным. По улице, в направлении шумных бульваров, непрерывно тянулся ряд экипажей, в которых высоко сидели известные, роскошно одетые кокетки; казалось, Фанни без сожаления смотрела на эту выставку торжествующего порока; ведь и она могла бы занять в ней место, которым пренебрегла ради него. Только бы он согласился хоть изредка видаться с ней, а она уж сумеет справиться со своею рабской жизнью и даже найти в ней привлекательные стороны...

Все обитатели пансиона обожали ее. Иностранки, лишенные вкуса, следовали её советам при покупке нарядов; по утрам она давала уроки пения старшей из девиц-перуанок и указывала мужчинам, какую книгу прочесть, какую пьесу посмотреть в театре; мужчины осыпали ее знаками внимания и предупредительности, особенно голландец, живший во втором этаже. – Он усаживается на этом месте, где ты сидишь и смотрит на меня, пока я не скажу: «Кейпер, вы мне надоели». Тогда он отвечает: «Хорошо» и уходит... Он преподнес мне эту маленькую коралловую брошь... Она стоит пять франков, и я приняла ее, лишь бы от него отвязаться.

Вошел лакей и поставил поднос с посудой на круглый столик, слегка отодвинув растение. – Я обедаю здесь, одна, за час до общего обеда. – Она

указала на два блюда из довольно длинного и обильного меню. Заведующая хозяйством имела право лишь на суп и на два блюда. – Ну и подлая же Розарио!.. Хотя, в конце концов, я предпочитаю обедать здесь; не надо разговаривать и я прочитываю твои письма, – они заменяют мне собеседника.

Она прервала себя, чтобы достать скатерть и салфетки; ее беспокоили ежеминутно; то приходилось отдать приказание, то отворять шкаф, то удовлетворить какое-либо требование. Жан понял, что, оставаясь дольше, он стеснил бы ее; к тому же ей стали подавать обед, и маленькая, жалкая порционная чашка, дымившаяся на столе, навела обоих на одну и ту же мысль, на одно и то же сожаление о былых совместных обедах!

– До воскресенья... до воскресенья... – тихонько повторяла она, отпуская его. В присутствии служащих и сходявших по лестнице на хлебников они не могли обнять друг друга; Фанни взяла его руку, и долго держала ее у своего сердца, как бы желая впитать его ласку.

Весь вечер и всю ночь он думал о ней, страдая за её рабскую приниженность перед подлой хозяйкой и её жирной ящерицей; голландец тоже смущал его, так что до воскресенья он не жил, а мучился. На деле, этот полуразрыв, долженствовавший без потрясений подготовить конец их связи, оказался для Фанни ножом садовода, оживляющим гниющее дерево. Почти ежедневно писали они друг другу записки, полные нежности, которые диктуются нетерпением влюбленных; или же он заходил к ней после службы для тихой беседы в конторе, за вязаньем.

Говоря о нем в пансионе, она как то сказала: «Один из моих родственников»... и под защитой этой неопределенной клички он мог провести иногда вечер в их гостиной, словно за тысячу верст Парижа. Он познакомился с семьей перуанцев, с их бесчисленными барышнями, всегда безвкусно одетыми в яркие цвета, и восседавшими вдоль стен гостиной точь-в-точь как попугаи на насесте; он слушал игру на цитре расфуфыренной Минны Фогель, напоминавшей обвитую хмелем жердь, и видел её молчаливого брата; больной страстно покачивал головой в такт музыке и перебирал пальцами воображаемый кларнет – единственный инструмент, на котором ему позволено было играть; играл в вист с голландцем, толстым, лысым и грязным; голландец бывал во всех странах и плавал по всем океанам, но когда его спрашивали об Австралии, где он недавно провел несколько месяцев, то он отвечал, вытаращив глаза:

– Угадайте, что стоит в Мельбурне картофель?.. – дороговизна картофеля была единственным, обстоятельством, поразившая его в чужих краях.

Фанни была душой этих собраний, болтала, пела, играя роль осведомленной и светской парижанки; окружавшие ее чудаки не замечали в ней следов богемы и мастерской, или же принимали их за утонченные манеры. Она поражала их своими связями со знаменитостями литературного и артистического мира; а русской даме, сходявшей с ума по Дежуа, сообщила подробности о его манере творить, о количестве чашек кофе, выпиваемых им за ночь, о точной цифре гонорара, уплаченного издателем «Сендринетты» за этот труд, обогативший его. Успехи любовницы наполняли Госсэна гордостью, так что, забывая свою ревность, он готов был засвидетельствовать её слова, если бы кто-нибудь в них усомнился.

Любуясь ею в этом мирном салоне, при мягком свете ламп под абажуром, пока она разливала чай, сопровождала на рояле молодым девушкам и давала им советы, словно старшая сестра, он находил странное удовольствие припоминать ее иной, такой, какой она приходила к нему по воскресеньям утром, вся промокшая от дождя; дрожа от холода, но не подходя к ярко пылавшему камину, затопленному ради её прихода, она поспешно раздевалась и бросалась в широкую постель, прижимаясь к любовнику. Какие объятия, какие ласки! Ими вознаграждалось нетерпение целой недели, лишение испытываемое каждым из них, и сохранявшим их любви её жизненность.

Проходили часы, они не знали счета времени и до вечера не покидали постели. Ничто не соблазняло их; ни развлечения, ни визиты к друзьям, будь то даже Эттэма, которые из экономии решили переселиться за город. После завтрака, поданного тут же, они слушали, притаясь, и не двигаясь, воскресный шум парижской толпы, слонявшейся по улицам, свистки поездов, грохот переполненных экипажей; только крупные капли дождя, падавшие на цинковую крышу балкона, да ускоренное биение их сердец, отмечали это отсутствие жизни, это незнание времени, вплоть до сумерек.

Наконец газ, зажженный напротив, бросал бледный отсвет на обои; надо было вставать, так как Фанни должна была возвращаться к семи часам. В полутьме комнаты, пока она надевала непросохшие от ходьбы башмаки, юбки и платье управительницы – черный мундир трудящихся женщин – все неприятности, все унижения казались ей еще более тяжкими и жестокими.

Вокруг была любимая обстановка, мебель, маленькая умывальная комната, напоминавшая ей прежние счастливые дни, и это еще усиливало её печаль... Она с трудом отрывалась: «Идем!» Чтобы подольше остаться вместе, Жан провожал ее до пансиона; они медленно, прижавшись друг к

другу, возвращались по аллее Елисейских Полей; фонари, возвышавшаяся Триумфальная Арка, да две-три звездочки на темном небе, казались фоном диорамы. На углу улицы Перголез, вблизи пансиона, она приподнимала вуалетку для последнего поцелуя, и он оставался один, растерянный, с отворачиванием к квартире, куда возвращался как можно позже, проклиная свою бедность и злобствуя на родных в Кастеле за ту жертву, на которую он обрек себя ради них.

В течение двух или трех месяцев они вели невыносимое существование, так как Жан должен был сократить и посещение отеля, вследствие сплетен прислуги, а Фанни все больше и больше раздражалась на скупость матери и дочери Санчес. Она втихомолку подумывала о возобновлении своего маленького хозяйства и чувствовала, что возлюбленный её тоже выбился из сил; но ей хотелось, чтобы он первый заговорил об этом.

В одно апрельское воскресенье, Фанни явилась более нарядная, чем обыкновенно в круглой шляпке, в весеннем, простом туалете – она была небогата – хорошо облежавшем её стройную фигуру.

– Вставай скорее, поедем завтракать на дачу...

– На дачу?..

– Да, в Ангиен, к Розе... Она пригласила нас обоих...

Сначала он отказался, но Фанни настояла. Никогда Роза не простила бы ему отказа. – Ты должен согласиться ради меня... Кажется, я, с своей стороны, немало делаю.

Большая дача, великолепно отделанная и меблированная, в которой потолки и зеркальные простенки отражали искристый блеск воды, стояла на берегу Ангиенского озера, перед громадной лужайкой, спускавшейся к бухте, где покачивалось несколько яликов и лодок; роскошные грабовые аллеи парка уже трепетали ранней зеленью и цветущей сиренью. Корректная прислуга и безупречные аллеи, где нельзя было найти ни сучка, делали честь двойному надзору Розарио и старухи Пилар.

Все сидели уже за столом, когда они появились, целый час проплутав вследствие неточного адреса, вокруг озера, по переулкам между садовыми решетками. Смущение Жана достигло высшей степени от холодного приема хозяйки, взбешенной тем, что их пришлось ждать, и необычайного вида старых ведьм, которым Роза представила его крикливым голосом уличной торговли. То были три «звезды», как называют себя известные кокетки – три развалины, блиставшие когда-то при Второй Империи, с именами столь же знаменитыми, как имена великих поэтов или полководцев: Вильки Коб, Сомбрёз, Клара Дефу. Разумеется, звезды эти

блестели как и раньше, разодетые по последней моде, в весенних туалетах, изящные, нарядные от воротничка до ботинок; но, увы, какие увядшие, намазанные, и реставрированные! Сомбрёз, с мертвыми глазами без век, вытянув губы, ощупью искала свою тарелку, вилку, стакан; Дефу – громадная, угреватая, с грелкой под ногами, разложила на скатерти жалкие, подагрические, искривленные пальцы, унизанные сверкающими перстнями, надевать и снимать которые было так трудно и сложно, как разбирать звенья римского фокуса; а Коб, – тоненькая, с моложавой фигурой, что делало еще более отвратительной её облысевшую голову больного клоуна, прикрытую париком из желтой пакли. Она была разорена, имущество её было описано, и она отправилась в последний раз в Монте-Карло попытать счастья; вернулась оттуда без гроша, воспылав страстью к красивому крупье, не захотевшему ее знать. Роза, приютившая ее у себя и кормившая, чрезвычайно хвалилась этим.

Все эти женщины были знакомы с Фанни и покровительственно приветствовали ее: «Как поживаете, милая?» Фанни, с скромном платье, по три франка за метр, без драгоценностей, кроме красной броши Кейпера, выглядела «новенькой» среди этих престарелых чудовищ полусвета, казавшихся еще страшнее от окружавшей их роскоши, при отраженном блеске воды и неба, проникавшем вместе с весенним ароматом в окна и двери столовой.

Тут же была старуха Пилар, «обезьяна», она называла себя на своем франко-испанском жаргоне – настоящая макака, с шероховатой бесцветной кожей, с выражением злой хитрости на морщинистом лице, с остриженными в кружок седыми волосами, и одетая в старое черное атласное платье, с голубым матросским воротником.

– Наконец, господин Бичито... – сказала Роза, заканчивая представление своих гостей, и показывая Госсэну лежавший на скатерти ком розовой ваты с дрожащим под ним хамелеоном.

– А меня не следует разве представить? – спросил с напускною веселостью высокий господин, с седеющими усами и с несколько чопорной осанкой, в светлом пиджаке и стоячем воротничке.

– Правда... забыли: Татава, – сказали, смеясь, женщины. Хозяйка дома небрежно назвала его фамилию. То был Де-Поттер, известный композитор, автор «Клавдии» и «Савонароллы»; Жан, лишь мельком видевший его у Дешелетта, был поражен почти полным отсутствием духовных черт в наружности великого артиста, с правильным, но неподвижным, словно деревянным лицом, бесцветными глазами, с печатью безумной, неизлечимой страсти, державшей его уже много лет около этой развратной

твари; эта страсть заставила его покинуть жену и детей, и стать прихлебателем в доме, на который он просадил уже часть своего огромного состояния и театральные заработков, и где с ним обращались хуже, чем с лакеем. Нужно было видеть, как выходила из себя Роза при его попытках вступить в разговор, каким презрительным тоном она приказывала ему молчать. И Пилар всегда поддерживая дочь, прибавляла внушительно:

– Помолчи, пожалуйста, милый.

Жан сидел за столом рядом с Пилар, ворчавшей и чавкавшей, во время еды, как животное, и жадно заглядывавшей в его тарелку; это изводило молодого человека, уже и без того раздраженного бесцеремонным тоном Розы, задевавшей Фанни, вышучивавшей музыкальные вечера в пансионе и наивность несчастных иностранцев, принимавших управительницу за разорившуюся светскую даму. Казалось, что бывшая наездница, заплывшая нездоровым жиром, с тысячными бриллиантами в ушах, завидовала подруге, её молодости и красоте, которые невольно сообщались ей её молодым и красивым любовником; но Фанни не раздражалась, а наоборот, забавляла весь стол, представляя в карикатурном виде обитателей пансиона: перуанца, с закатыванием глаз, высказывавшего ей свое страстное желание познакомиться с известной «кокоткой», и молчаливое ухаживанье голландца, сопевшего, как тюлень, за её стулом: «Угадайте, что стоит в Батавии картофель?»

Госсэн не смеялся; Пилар тоже была серьезна, то присматривая за дочерним серебром, то резким движением набрасываясь вдруг на свой прибор, или на рукав соседа, в погоне за мухой, которую предлагала, бормоча нежные слова: «ешь, милочка, ешь красавец» отвратительному животному, лежавшему на скатерти, сморщенному и бесформенному, как пальцы старой Дефу.

Иногда, за недостатком мух поблизости, она намечала муху на буфете или на стеклянной двери, вставала и с торжеством ловила ее. Этот прием, часто повторяемый, вывел наконец из терпения дочь, особенно нервничавшую с самого утра:

– Не вскакивай каждую минуту! Наконец, это утомительно.

Тем же голосом, но сильно коверкая слова, мать ответила:

– Вы ведь обжираетесь... Почему же ему-то не есть?

– Уходи из за стола, или сиди спокойно... Ты всем надоела...

Старуха заупрямилась, и они начали ругаться как испанки-ханжи, примешивая к уличной брани и ад, и дьяволов:

– *Hija del demonio.*

– *Suerno de satanas.*

– Puta!..

– Mi madre!

Жан с ужасом смотрел на них, меж тем как остальные гости, привыкшие к семейным сценам, продолжали спокойно есть. И только Поттер вмешался в ссору, из уважения к постороннему:

– Перестаньте, довольно!

Но Роза, в бешенстве, напала и на него:

– Куда суешься?.. Вот новости!.. Разве я не смею говорить, что хочу?.. Сходи лучше к жене, посмотри, нет ли кого-нибудь там... Опротивели мне твои рыбы глаза, да три волоса на макушке... Отдай их твоей гусыне, пока не поздно!..

Поттер, слегка побледнев, улыбался:

– С чем приходится мириться!.. – бормотал он про себя.

– Это чего-нибудь да стоит! – рычала она, навалясь всем телом на стол. – А то знаешь, – скатертью дорога!.. Убирайся!.. Живо!

– Перестань, Роза... – молили жалкие, тусклые глаза. А старуха Пилар, принимаясь за еду, с комичным равнодушием, сказала: «Помолчи, мой милый»; все покатались со смеху, даже Роза, даже Поттер, который теперь обнимал свою сварливую любовницу, и, желая окончательно заслужить её прощение, поймал муху и, держа ее осторожно за крылья, предложил ее Бичито.

И это Поттер, знаменитый композитор, гордость французской школы! Чем, какими чарами удерживала его эта женщина, состарившаяся в пороке, грубая с матерью, которая лишь подчеркивала её низость, показывала ее такой, какой она будет через двадцать лет, словно отражая ее в зеркальном садовом шаре?..

Кофе был подан на берегу озера, в маленьком гроте из раковин и камешков, задрапированном светлой тканью, отливавшей волнистым блеском воды; восхитительный уголок для поцелуев, каприз восемнадцатого столетия, с зеркальным потолком, в котором отражались позы старых ведьм, развалившихся на широком диване и охваченных послеобеденною негой; Роза, с пылающим под белилами лицом и вытянув руки, навалилась на своего композитора:

– О! мой Татав... мой Татав!..

Но этот прилив нежности исчез вместе с шартрёмом, и так как у одной из дам явилась фантазия покататься по озеру, она послала Поттера за лодкой.

– Только лодку, слышишь, а не ялик!

– Я прикажу Дезире.

– Дезире завтракает...
– Дело в том, что лодка полна воды; надо воду вычерпывать, а это долгая возня...
– Жан пойдет с вами, Поттер... – сказала Фанни, предчувствуя новый скандал.

Сидя друг против друга, раздвинув ноги, и нагибаясь со скамейки, они деятельно вычерпывали воду, не говоря ни слова, не глядя друг на друга, словно, загипнотизированные плеском воды, мерно лившейся из ковшей. Возле них благоухающе свежестью падала тень высокой катальты и вырезывалась на фоне блестящего светом озера.

– Давно ли вы живете с Фанни? – спросил композитор, приостанавливая работу.

– Два года... – отвечал Госсэн, несколько удивленный.

– Всего два года?.. В таком случае то, что вы видите на моем примере, может пойти вам на пользу. Я живу тридцать лет с Розой; двадцать лет тому назад, вернувшись из Италии после трехлетней работы, для которой я был командирован в Рим, пошел я вечером на Ипподром и увидел ее, стоящую в маленькой колеснице на повороте арены и несущейся прямо на меня, с хлыстом, мелькавшим в воздухе, в каске с восемью вампирами, и в кольчуге из золотой чешуи, сжимавшей её стан до половины бедер. Ах, если бы тогда мне сказали...

И принимаясь снова опоражнивать лодку, он продолжал рассказывать, как вначале у него в семье только смеялись над эту связью; затем, когда дело приняло серьезный оборот, какими усилиями, мольбами и жертвами родные хотели склонить его к разрыву. Два или три раза женщину эту удаляли ценою денег, но он постоянно отыскивал ее и соединялся с нею. «Попробуем послать его в путешествие...» сказала мать. Он поехал; но вернулся и ушел к ней снова. Тогда он позволил, чтобы его женили; красивая девушка, богатое приданое, перспектива Академии в свадебной корзине... А три месяца спустя бросил новобрачную ради прежней любви... «Ах, молодой человек, молодой человек!..»

Он рассказывал свою жизнь сухо, ни один мускул не дрогнул на его лице, похожем на маску, неподвижном, как крахмальный воротничок, который его так прямо поддерживал. Проплывали лодки, полные студентов и женщин, со взрывами молодого, пьяного смеха и песен; сколько бессознательных людей должны были бы остановиться и выслушать этот ужасный урок...

В киоске, тем временем, словно уговорившись склонять Фанни к разрыву, престарелые красавицы учили ее уму-разуму...

– Красив мальчик, но ведь у него нет ни гроша... К чему же все это приведет?..

– Но я его люблю...

Роза сказала, пожимая плечами:

– Бросьте ее... Она упустила голландца, как упустила на моих глазах все превосходные случаи... После истории с Фламаном, она пыталась стать практичной, но теперь снова безумна, как никогда...

– Ау, vellaka... проворчала мадам Пилар.

В разговор вмешалась англичанка, с лицом клоуна и с ужасным акцентом, который так долго способствовал её успеху:

– Очень хорошо любить любовь, малютка... Это очень приятно, любовь, видите ли... Но вы должны также любить деньги... Теперь, если бы я всегда была богата, разве мой крупье сказал бы, что я безобразна; как вы думаете?..

Она вскочила гневно и сказала пронзительным голосом:

– О, это ужасно, эта вещь... Быть знаменитой в свете, быть известной на весь мир, как памятник, как бульвар... Быть так знаменитой, что всякий извозчик, когда ему скажут «Вильки Коб» тотчас знал, где это... Видеть у моих ног князей и королей, говоривших, когда я плевала, что мой плевок красив... И вдруг теперь этот грязный оборванец смеет гнать меня и говорить, что я безобразна и мне не на что было купить его хотя бы на одну ночь!

Возбуждаясь при мысли, что ее могли найти безобразной, она вдруг распахнула платье:

– Лицо, yes, я согласна; но шея, плечи... Разве они не белы? Разве они не упруги?..

Она бесстыдно обнажала свое тело колдуньи, которое каким то чудом осталось молодым после тридцати лет, проведенных в этом аду, и над которым возвышалась увядшая, безобразная голова.

– Лодка готова, сударыни!.. – крикнул де-Поттер; англичанка, застегнув платье над тем, что в ней оставалось еще молодого, пробормотала в комическом ужасе:

– Не могла же я ходить голой по улицам!..

Среди этой декорации во вкусе Ланкрэ, где сверкала из-за свежей зелени кокетливая белизна дач, с террасами, с лужайками, окаймлявшими искрившийся на солнце пруд, странное зрелище представляла лодка с этими престарелыми жрицами любви: слепая Сомбрёз, старый клоун и разбитая параличом Дефу, оставлявшая за лодкой вместе со струей воды мускусный запах своих притираний...

Жан греб, согнув спину, стыдясь и приходя в отчаяние от того, что его могли увидеть, приписать ему какую-нибудь низменную функцию в этой мрачной аллегорической барке. К счастью, против него, в виде отдыха для глаз и для души, сидела Фанни Легран, возле руля, которым правил Де-Поттер. Улыбка Фанни никогда не казалась ему такую молодою, разумеется, по сравнению...

– Спой нам, крошка, что-нибудь, – попросила Дефу, разнеженная весенним воздухом.

Выразительным и глубоким голосом, Фанни запела баркаролу из «Клавдии»; композитор, тронутый этим напоминанием своего первого крупного успеха, вторил ей, не разжимая губ, подражая партии оркестра, и эти звуки сопровождали мелодию, словно всплески воды. В эту минуту, в этой обстановке это было восхитительно. С соседнего балкона крикнули «браво»; и Жан, мерно двигая веслами, жаждал этой божественной музыки, лившейся из уст его любовницы, и испытывал соблазн прильнуть губами к этому источнику и пить из него, запрокинув голову, без перерыва, всегда.

Внезапно Роза, в ярости, прервала песенку, так как ее раздражали сливавшиеся в ней голоса:

– Эй, вы, певцы, когда вы кончите ворковать друг другу под нос?.. Неужели вы думаете, что нас забавляет ваш похоронный романс?.. Довольно!.. Во-первых поздно, да и Фанни пора домой...

Резким движением руки указывая на ближайшую остановку, она сказала своему любовнику:

– Причаливай сюда... Здесь ближе к станции...

Это было более чем грубо; но бывшая цирковая наездница уже приучила гостей к своим манерам, и никто не смел протестовать. Пара была высажена на берег, с несколькими холодными прощальными приветствиями, обращенными к молодому человеку, и с приказаниями отданными Фанни пронзительным голосом; лодка отплыла, с криками, обрывками ссоры, закончившейся оскорбительным взрывом хохота, донесшимся к ним по гулкой поверхности воды.

– Слышишь, слышишь, – говорила Фанни, бледнея от бешенства. – Это она над нами смеется...

Все унижения, все гневные выходки припомнились ей при этом последнем оскорблении; она перечисляла их, идя к вокзалу и рассказывала вещи, которые до тех пор скрывала. Роза только и старалась над тем, чтобы их разлучить, чтобы облегчить ей возможность обмана.

– Чего-чего только она не говорила мне, убеждая согласиться на предложения голландца... Не далее, как сейчас, все они, точно

сговорившись, начали... Я слишком люблю тебя, понимаешь, и это стесняет ее в её пороках, ибо она обладает всеми пороками, самыми низменными, самыми чудовищными. И вот за это, я не хочу, больше...

Она остановилась и умолкла, видя, что он страшно побледнел, и что губы его дрожали, как в тот вечер, когда он ворошил пепел сожженных писем.

– О, не бойся, – сказала она. – Твоя любовь излечила меня от всех этих ужасов... Она и её омерзительный хамелеон, оба внушают мне отвращение...

– Я не позволю тебе больше оставаться там, – сказал ей любовник, теряя рассудок от ужасающей ревности. – Слишком много грязи в хлебе, который ты зарабатываешь. Ты вернешься ко мне, мы как-нибудь выбьемся.

Она давно ждала, призывала этот крик. Тем не менее, она колебалась, возражая, что на триста франков, которые он получает в министерстве, жить своим домом трудно; придется, пожалуй, снова расставаться, – а я уже перенесла такие страдания, когда прощалась в первый раз с нашим бедным домом.

Под акациями, окаймлявшими дорогу, с телеграфными проволоками усеянными ласточками, стояли скамейки; чтобы удобнее беседовать, они сели на скамейку, оба взволнованные и не разнимая рук:

– Триста франков в месяц... – сказал Жан. – Но как же живут Эттэма, которые получают всего двести пятьдесят?

– Они живут в деревне, в Шавиль, круглый год.

– Так что же; сделаем, как они; я не дорожу Парижем.

– В самом деле?.. Ты согласен?.. Ах друг мой, друг мой...

По дороге проходили люди, проезжала на ослах после свадьбы кавалькада. Они не могли поцеловать друг друга и сидели не двигаясь, прижавшись один к другому и мечтая о счастье, которое принесут им летние вечера, свежесть лугов, и теплая тишина, изредка нарушаемая выстрелами из ружья или ритурнелями шарманки с какого-то деревенского праздника.

Глава 8

Они поселились в Шавиле, между холмом и равниной, на старинной лесной дороге Pavè des Gardes, в бывшем охотничьем домике, у самой опушки леса. В домике было три комнаты, не просторнее тех, что были у них в Париже, и стояла все та же мебель: камышовое кресло, расписной шкаф, а ужасные зеленые обои их спальни были украшены лишь портретом Фанни, так как фотография Кастеле осталась без рамки, которая сломалась во время перевозки и выцветала теперь где то на чердаке.

О несчастном Кастеле больше не говорили с тех пор, как дядя и племянник прервали переписку. «Хорош друг!», говорила Фанни, вспоминая готовность Фена содействовать их первому разрыву. Только малютки писали брату о местных новостях; Дивонна же не писала совсем. Быть может она еще сердилась на племянника; или же угадывала, что скверная женщина переехала к нему вновь, чтобы распечатывать и обсуждать её жалкие материнские письма, написанные крупным, деревенским почерком.

Были минуты когда они могли вообразить себя еще в квартире на улице Амстердам, когда просыпались под звуки романса, распеваемого супругами Эттэма, ставшими и здесь их соседями, и под свистки поездов, беспрестанно скрещивавшихся по ту сторону дороги и мелькавших сквозь деревья большого парка. Но, вместо тусклых стекол Западного вокзала, вместо его окон без штор, в которые виднелись наклоненные головы служащих, вместо грохота покато́й улицы, они теперь наслаждались видом безмолвного и зеленого пространства за маленьким огородом, окруженным другими садиками и домами, утопавшими среди деревьев и спускавшимися к подножью холма.

Утром, перед отъездом, Жан завтракал в маленькой столовой, с окном, открытым на широкую вымощенную дорогу с пробивающеюся кое-где травой и обнесенную изгородями белого шиповника с горьким запахом. Этой дорогой он в десять минут доходил до станции, минуя парк с шумевшими деревьями и распевавшими птицами; когда он возвращался, шум умолкал по мере того, как тень выступала из кустов и охватывала зеленый мох дороги, позлащённым и заходящим солнцем, а кукование кукушек, раздававшееся в всех уголках леса, сливалось с трелями соловьев, скрывавшихся в густом плюще.

Но когда первоначальное устройство было закончено, когда кончилась

новизна этой окружавшей их тишины и мира, любовник снова вернулся к своим мукам бесплодной ревности. Ссора Фанни с Розою и её отъезд из меблированных комнат вызвали между женщинами чудовищное объяснение, в котором никто не понимал друг друга, и оно вновь разбередило все его подозрения и тревоги; когда он уходил, когда он видел из вагона свой невысокий домик с круглым слуховым окном, взгляд его словно стремился проникнуть сквозь стены. Он говорил себе: «Как знать?» И мысль об этом не покидала его даже в канцелярии, над бумагами. По возвращении, он заставлял Фанни рассказывать весь свой день, хотел знать малейшие её поступки, занятия, большей частью безразличные, и прерывал рассказ восклицаниями: «О чем ты думаешь? Говори же»!.. не переставая опасаться, что она сожалеет о чем-нибудь или о ком-нибудь из своего ужасного прошлого, в котором она всякий раз признавалась с тою же отчаянной откровенностью.

Когда они виделись только по воскресеньям, скучая друг о друге, у него не хватало времени на производство этого морального следствия, оскорбительного и мелочного. Но, видаясь непрерывно, в интимной близости совместной жизни, они мучили друг друга даже среди ласк, даже в минуты забвения, терзаемые глухим гневом и болезненным чувством непоправимого; он выбивался из сил, чтобы заставить испытать эту женщину, отравленную любовью, какое-нибудь неизведанное ощущение; она же готова на все, лишь бы доставить ему радость, которую она не дарила уже десятку других людей, и не будучи в состоянии выполнить этого, плакала от бессильного гнева.

Затем на них сошел какой-то мир; быть может, то было влияние пресыщения среди теплой ласковой природы, или проще соседство супругов Эттэма. Быть может из всех семейств, живших на даче под Парижем, ни одно так полно не наслаждалось деревенской свободой, возможностью ходить в старом платье, в шляпах из стружек, барыня без корсета, а барин в купальных туфлях; выйдя из-за стола они относили корки хлеба уткам, остатки овощей кроликам, затем пололи, скребли, прививали и поливали сад.

Ох, эта поливка!..

Супруги Эттэма принимались за нее едва муж, вернувшись, передевал свое служебное платье на куртку Робинзона; после обеда он еще работал; ночь уже спускалась над темным садиком, над которым поднимался свежий запах сырой земли, а все еще слышались скрип колодца, звон больших леек, и тяжелое дыхание то над той, то над другой картиной вместе со струями пота, падавшими, казалось, с чела самих

рабочников; время от времени слышались победные крики:

– Я вылил тридцать две лейки на сахарный горошек!..

– А я четырнадцать на бальзамины!..

Эти люди не довольствовались тем, что были счастливы, но они еще любовались собою, смаковали свое счастье, лезли с ним ко всем; особенно муж, описывавший в ярких красках все прелести зимовки вдвоем на лоне природы:

– Теперь еще ничего, а вы увидите что будет в декабре! Приходишь домой, промокший, в грязи, с головой, забитой всевозможными парижскими делами и заботами; находишь дома яркий огонь, горящую лампу, вкусно пахнущий суп, а под столом пару сабо, выложенных соломой. Нет, видите ли, когда проглотишь тарелку сосисек с капустой, да кусок швейцарского сыру, сохранявшегося под сырой тряпкой, когда запьешь все это литром хорошего вина, не прошедшего через Берси и чистого от всяких примесей, то приятно бывает подвинуть кресло к огню, закурить трубку, потягивая кофе с несколькими каплями ликера, и на минутку вздремнуть, сидя друг против друга, меж тем, как в окна хлещет дождь со снегом... Вздремнуть на минутку, чтобы только слегка облегчить начало пищеварения... Затем немного почертишь, жена убирает со стола, ходит взад и вперед, оправляет постель, кладет грелку, и когда она легла на теплое местечко, ты тоже заваливаешься на постель, и по всему телу разливается такое тепло, словно ты весь погружаешься в ту теплую солому, которую выстланы твои туфли...

В такие минуты этот косматый исполин с тяжелой нижней челюстью, обыкновенно такой робкий, что не мог произнести ни слова, не запинаясь и не краснея, делался почти красноречивым.

Его безумная застенчивость, находившаяся в таком странном контрасте с черной бородой и сложением гиганта, собственно и привела его к женитьбе и составила счастье всей его жизни. В двадцать пять лет, пышущий здоровьем и силой, Эттэма не знал ни любви, ни женщин, как вдруг однажды в Невере, после основательного обеда, товарищи увлекли его, полупьяного, в веселый дом и понудили его выбрать женщину. Ушел от оттуда потрясенный, затем пришел вновь выбрать ту же женщину; наконец, выкупил ее и увез к себе. Из страха, чтобы кто-нибудь у него ее не отнял, и чтобы не пришлось предпринимать новые завоевания, он кончил тем, что женился на ней.

– Вот тебе и законный брак, друг мой!.. – говорила Фанни, победоносно смеясь Жану, слушавшему ее с ужасом. – Изо всех браков, которые я знаю, это еще самый порядочный самый честный!

Она утверждала это в простодушии своего невежества, так как все законные браки, которые ей случалось видеть, и не заслуживали другой оценки; и все её понятия о жизни были так неверны и так же искренни, как это.

Супруги Эттэма были чрезвычайно удобными соседями, всегда ровными, способными даже на мелкие, не слишком обременительные для себя услуги, и всего более страшились сцен и ссор, в которых надо становиться на чью-нибудь сторону; словом всего, что может нарушить спокойное пищеварение. Жена пыталась даже посвящать Фанни в воспитание кур и кроликов, в мирные радости поливки, но безрезультатно.

Любовница Госсэна, как дочь предместья, прошедшая через мастерские, любила деревню лишь минутами, как место, где можно покричать, покататься по траве, забыться в объятиях любовника. Она ненавидела всякое усилие и труд; и за шесть месяцев своего хозяйничанья в меблированных комнатах, истощив надолго свою деятельную энергию, она отдавалась теперь смутному оцепенению, опьянению воздухом и покоем, отнимавшему у неё всякое желание даже одеваться, причесываться или хоть изредка открывать свое фортепиано.

Все домашние заботы были всецело возложены на деревенскую прислугу, и когда наступал вечер и она припоминала весь день, чтобы описать его Жану, то не находила ничего, кроме визита к Олимпии, разговоров через забор и... папирос, целых груд папирос, окурки которых усыпали мраморный пол перед камином. Уже шесть часов... едва остается время накинуть платье, приколоть к поясу цветок и идти по зеленой тропинке навстречу Жану.

Но, благодаря туманам, осенним дождям и ранним сумеркам у неё явилось много предлогов, вовсе не выходить из дома и Жан не раз заставлял ее в том же халате из белой шерстяной материи, с широкими складками, который она, наскоро закрутив волосы, надевала по утрам, когда он уходил. Он находил ее очаровательной в таком виде, с молодой нежной шеей, с соблазнительным, выхоленным телом, которое чувствовалось близко, ничем не стесненное. Вместе с тем, однако, эта неряшливость, до известной степени, шокировала и пугала его, как опасность для будущего.

Сам он, после усиленной добавочной работы, с целью увеличить свои доходы, не прибегая к помощи Кастеле, после ночей, проведенных над черчением планов, над воспроизведением артиллерийских снарядов, повозок и ружей нового образца, которые он чертил для Эттэма, почувствовал себя вдруг охваченным тем успокаивающим влиянием деревни и одиночества, которому поддаются даже самые сильные и самые

деятельные люди; зерно этого чувства было заложено в него детством, проведенным в тихом уголке Прованса, на лоне природы.

Заражаясь во время бесконечных взаимных посещений, материализмом своих дородных соседей, с их моральным отупением и чудовищным аппетитом, Госсэн и его любовница также усвоили себе привычку серьезно обсуждать вопросы стола во время отхода ко сну. Сезар прислал им бочку своего «лягушачьего вина» и они провели целое воскресенье, разливая его по бутылкам; дверь в маленький погреб была открыта, пропуская прощальные лучи осеннего солнца, небо было синее, с редкими розовато-лиловыми, как лесной вереск, облачками. Недалеко уже было и до сабо, выстланных теплой соломой, и до мимолетного подремывания вдвоем по обе стороны камина!.. Но, к счастью, судьба послала им развлечение.

Однажды вечером, Жан застал Фанни очень взволнованной. Олимпия только что рассказала ей про одного несчастного ребенка, проживавшего в Морване, у бабушки. Отец и мать, торговцы дровами, жившие в Париже не писали, не платили. Бабушка вдруг умерла и рыбаки отвезли мальчишку Ионским каналом, чтобы вернуть его родителям; но родителей не оказалось. Склад был закрыт, мать уехала с любовником, отец спился, опустился и также исчез... Хороши законные браки!.. И вот малютка, шестилетний ангелочек, очутился на улице без платья, без куска хлеба.

Она была растрогана до слез и вдруг сказала:

– Не взять ли его нам?.. Хочешь?

– Какое безумие!..

– Почему?.. – И, ластясь, продолжала: – Ты знаешь, как мне хотелось иметь от тебя ребенка; я буду воспитывать хоть этого, буду его учить. Этих малюток, которых берешь на воспитание в конце концов начинаешь любить как родных.

Она представляла себе, как это ее развлечет, рассеет, в то время как теперь она проводит целые дни одна, тупея и переворачивая в голове кучи отвратительных мыслей. Ребенок – это охрана, спасение. Затем, видя, что он боится расходов, сказала:

– Расходы невелики... Подумай, ему всего шесть лет; я буду перешивать для него твое старое платье... Олимпия, понимающая в этом деле, уверяет, что нам это совсем не будет заметно.

– Почему же она не берет его сама? – сказал Жан, с досадой человека, чувствующего себя побежденным собственной слабостью. Тем не менее, он попробовал возражать, привел последние доводы: – А когда я уеду... – Он редко говорил о своем отъезде, чтобы не огорчать Фанни, но подумывал

о нем, успокаивался на нем, когда ему надоедало хозяйство, или когда тревожили замечания Поттера: – Какое осложнение этот ребенок, какая обуза для тебя в будущем!

– Ты ошибаешься, мой друг; с ним я хоть могла бы говорить о тебе, он был бы моим утешением, а также и моей ответственностью; он заставил бы меня работать, полюбить жизнь...

Он подумал с минуту, представил ее себе, одинокой, в пустом доме:

– Где же малютка?

– В Нижнем Медоне, у рыбака, приютившего его на несколько дней...

А потом придется отдать его в приют...

– Ну, что ж; сходи за ним, если тебе так хочется...

Она бросилась к нему на шею и с детской радостью целый вечер играла, пела, счастливая, веселая, преображенная. На другой день, сидя в вагоне, Жан заговорил о своем решении с толстяком Эттема, который, казалось, знал об этом деле, но не хотел в него вмешиваться. Сидя в уголке и углубленный в чтение «Petit journal», он промышчал себе в бороду:

– Да, знаю... это наши дамы... меня это не касается. – Затем высунул голову из-за развернутого газетного листа, сказал: – Ваша жена, по-видимому, очень романтическая женщина.

Романтическая или нет, но вечером она стояла на коленях, испуганно держа тарелку супа и пытаясь приручить маленького мальчика из Марвана; тот пятился, опустив голову, огромную голову с льняными волосами, отказывался произнести хоть одно слово, не хотел есть, не хотел показывать даже свое лицо и повторял сильным, но однообразным и сдавленным голосом:

– Хочу Менин, хочу Менин...

– Менин, это, кажется, его бабушка... Вот уже два часа, как я не могу от него добиться ни слова, кроме этого.

Жан тоже был охвачен желанием заставить его проглотить суп, но безуспешно; и оба стояли перед ним на коленях; Фанни держала тарелку, Жан – ложку и оба говорили, словно больному ягненку, одобряющие и ласковые слова.

– Сядем за стол; быть может мы его пугаем; он будет есть, когда мы перестанем смотреть на него...

Но он продолжал стоять неподвижно, глядя исподлобья, и повторяя свою жалобу маленького дикаря «хочу Менин», раздиравшую сердце, до тех пор, пока не заснул, прислонясь к буфету; заснул он так крепко, что они могли его раздеть и уложить в тяжелую деревянную люльку, взятую у соседей, а он ни на минуту не открыл глаз.

– Смотри, до чего он красив... – сказала Фанни, гордясь своим приобретением; она заставляла Госсэна восхищаться этим упрямым лбом, этими тонкими и изящными чертами лица под деревенским загаром, этим совершенством маленького тела, с крепкими бедрами, тонкими руками, длинными и нервными ногами маленького фавна, уже покрытыми внизу волосами. Она забылась, любуясь красотой ребенка...

– Прикрой же его, он озябнет... – сказал Жан; она вздрогнула, словно пробуждаясь от сна; и, пока она нежно укутывала его, малютка тихонько всхлипывал: волна отчаяния прорывалась даже сквозь сон. Однажды, когда он заметался, Жан, на всякий случай, протянул руку и начал покачивать тяжелую кровать; под эту качку ребенок успокоился и заснул, держа в грубой шершавой ручке руку взрослого, очевидно принимая ее за руку бабушки, умершей две недели тому назад.

Жил он в доме, словно дикая кошка, которая кусалась, царапалась, ела отдельно, и ворчала, когда подходили к её чашке; несколько слов удалось из него вытянуть, но они принадлежали к варварскому наречию морванских дровосеков и никто не мог бы понять их, если бы не супруги Эттема, оказавшиеся земляками мальчика. Меж тем, в результате всех этих забот и ласк, наконец удалось приручить его немного. Он согласился сменить лохмотья, в которых его привели, на теплую, чистую одежду, один вид которой в первые дни заставлял его кричать от ужаса, как настоящего шакала, которого хотели бы закутать в маленькую попонку левретки. Он выучился сидеть за столом, употреблять вилку и ложку, и отвечать, когда его спрашивали, как его зовут, что в деревне его звали «Жозеф».

Относительно сообщения ему каких-нибудь хотя бы самых элементарных познаний, нечего было и думать. Тупая голова этого маленького лесного человечка, выросшего в хижине угольщика, жила вечным гулом кипучей и кишачей природы. Не было никакой возможности вбить ему в голову что-либо иное, или заставить его сидеть дома хотя бы в самую дурную погоду. В дождь, в снег, когда голые деревья стояли покрытые ледяными кристаллами, он убежал из дома, рыскал по кустам, обыскивал норы, с ловкостью и жестокостью охотящегося хорька, и когда он возвращался домой, замученный голодом, в его разорванной в клочья бумазейной курточке или в кармане его коротких панталон, запачканных грязью даже выше живота, всегда было какое-нибудь застывшее или мертвое животное, – крот, птица, полевая мышь, – или же репа и картофель, вырванные им в поле.

Ничего не могло искоренить в нем этих наклонностей браконьера, осложненных еще манией деревенского жителя собирать мелкие блестящие

предметы: медные пуговицы, бусы, свинцовую бумагу от шоколада и т. д.; все это он подбирал, зажимал в руке, а потом уносил и прятал в потайных местечках, как вороватая сорока. Эта добыча носила у него общее название «запасы»; ни убеждения, ни колотушки не могли помешать ему делать эти запасы, вопреки всему и всем.

Одни Эттема умели с ним справляться: чертежник клал на расстоянии вытянутой руки, на стол, вокруг которого бродил маленький дикарь, привлеченный блестящим циркулем, инструментами и цветными карандашами, – собачий хлыст, которым и стегал его по ногам. Ни Жан, ни Фанни не решились бы прибегнуть к подобному средству, несмотря на то, что мальчик по отношению к ним был мрачен, недоверчив, не шел ни на какие нежности, ни на какое баловство, словно смерть Менин совершенно лишила его способности проявлять нежные чувства. Фанни, – «так как от неё хорошо пахло», – изредка удавалось удержать его минутку на коленях, но для Госсэна, хотя и обходившегося с ним кротко, он оставался тем же диким зверком, каким явился в первый день, с недоверчивым взглядом и выпущенными когтями.

Это непобедимое и почти инстинктивное отвращение маленького дикаря, забавное лукавство его маленьких голубых глазок с белыми ресницами альбиноса, и особенно слепая, внезапная любовь Фанни к этому чужому ребенку, неожиданно появившемуся в их жизни, – внушили Жану новые подозрения. Быть может, то был её ребенок, отданный на воспитание кормилице или её мачехе? В это время узнали о смерти Машом, и это показалось ему странным совпадением, оправдывающим его подозрение. Порою, ночью, держа маленькую ручку, вцепившуюся в его руку, – ибо ребенок продолжал думать во сне, что он протягивает ее «Менин», – Жан безмолвно вопрошал его, с глубоким внутренним волнением, в котором не хотел себе признаться: «Откуда ты? Кто ты?» надеясь по теплу маленького существа, переходившему на него, угадать тайну его рождения.

Но беспокойство это исчезло после слов дяди Леграна, который пришел просить, чтобы ему помогли уплатить за ограду вокруг могилы его покойницы и крикнул дочери, завидя кроватку Жозефа:

– Вот тебе на! мальчишка!.. Ты должно быть рада... Ведь ты никогда не могла родить ни одного...

Госсэн был так счастлив, что уплатил за ограду, не спросив даже о цене, и оставил дядю Леграна завтракать.

Служа на трамваях, ходивших от Парижа до Версаля, отравленный алкоголем и близкий к апоплексии, старик все еще был бодр и весел, в своем блестящем цилиндре, обвитом для данного случая куском грубого

крепа, превращавшим его в настоящую шляпу факельщика; он пришел в восторг от приема, оказанного ему возлюбленным дочери, и время от времени стал приезжать к ним позавтракать или пообедать. Его седые волосы торчавшие, как у клоуна, над бритым и лоснящимся лицом, его величественный вид пьяницы, уважение, с которым он относился к своему кнуту, ставя его в укромный уголок с заботливостью няньки, производили сильное впечатление на ребенка, и вскоре старик и малютка сильно подружились. Однажды, когда они кончали обед, их застали супруги Эттэма.

– Ах, извините, вы – в кругу семьи... – жеманно сказала жена, и эти слова хлестнули Жана по лицу и оскорбили, как пощечина.

Его семья!.. Этот приемщик, храпевший, положи голову на скатерть, этот старый плут с трубкой во рту, объяснявший жирным голосом в сотый раз, что двухкопеечный кнут служил ему полгода и что двадцать лет он не менял у него ручку... Его семья? Полноте!.. Не семья, как и сама Фанни Легран, постаревшая, утомленная, сидевшая облокотясь, и окруженная клубами дыма от папирос, не его жена! Не пройдет и года, как все это исчезнет из его жизни, как кончаются мимолетные путевые встречи с соседями по ланчу.

Но в иные минуты мысль об отъезде, к которой он прибегал, как к извинению за свою слабость, как только чувствовал, что опускается, падает, – эта мысль, вместо того, чтобы успокаивать его и утешать, заставляла его только сильнее ощущать многочисленные узы, которыми он был опутан. Какою болью будет для него отъезд! То будет не разрыв, а десять разрывов; чего будет ему стоить покинуть эту маленькую детскую ручку, которая каждую ночь покоится в его руке! Вплоть до иволги Балю, певшей и свиставшей в клетке, которая была ей мала, которую постоянно ей меняли, и в которой она горбилась, как старый кардинал в железной тюрьме; да, даже Балю заняла местечко в его сердце, и вырвать ее оттуда будет мучением.

А между тем, неизбежная разлука приближалась; великолепный июнь, когда природа особенно ликовала, по всей вероятности – последний месяц, который они проведут вместе. Это ли делало Фанни нервной и раздражительной, или воспитание Жозефа, предпринятое с внезапным жаром, к великой досаде маленького уроженца Морвана, сидевшего целыми часами над буквами алфавита, и не умевшего ни прочесть, ни выговорить их, с головой, словно задвинутой каким-то засовом, как ворота двора на ферме. С каждым днем беспокойство Фанни выливалось в неистовых сценах и слезах, возобновлявшихся беспрестанно, несмотря на

то, что Госсэн старался быть как можно снисходительнее; она так оскорбляла его, её гнев содержал в себе такой осадок злобы и ненависти к молодому любовнику, к его воспитанию, к его семье, к той пропасти, которою жизнь расширяла между ними, она так умела попадать в наиболее чувствительные места, что он кончал тем, что тоже забывался и отвечал.

Только гнев его был осторожен, был проникнут состраданием воспитанного человека, удары его не попадали в цель, будучи слишком болезненными и слишком легкими, меж тем как она предавалась своей распущенной ярости без всякого стыда, без всякого удержа, делая себе из всего оружие, подмечая с жестокою радостью на лице своей жертвы признаки страдания, которое она ей причиняла; затем она вдруг падала в его объятия и просила прощения.

Выражение лиц Эттэма, свидетелей этих ссор, раздражавшихся почти всегда за столом, в ту минуту, когда все сидели, и когда приходилось поднимать крышку с суповой миски или разрезать жаркое, было достойно кисти живописца. Они обменивались через стол взглядом комического ужаса. Можно ли есть, или жареная баранина полетит сейчас за окно, вместе с подливкой и с тушеными бобами?

– Ну, ради Бога, не надо сцен, – говорили они всякий раз, когда поднимался вопрос о том, чтобы провести время вместе; этими же словами они встретили предложение позавтракать в лесу, которое Фанни сделала им однажды в воскресенье, через забор. – Ах, нет, сегодня они не будут ссориться, погода уж чересчур хороша!.. – и она побежала одевать ребенка и укладывать корзинку с припасами.

Все было готово, все собрались, как вдруг почтальон подал заказное письмо, почерк которого заставил Госсэна замедлить шаги. Он догнал компанию у опушки леса и шепнул Фанни:

– Это от дяди... он в восторге... великолепный сбор, проданный на корню... Он возвращает тебе восемь тысяч франков Дешелетта, с благодарностями и комплиментами по адресу его племянницы.

– Да, племянница!.. С какой только стороны?.. Старая морковь!.. – проговорила Фанни, у которой не осталось никаких иллюзий относительно дядюшек с юга; затем весело прибавила:

– Придется поместить эти деньги...

Он взглянул на нее с изумлением, так как знал её щепетильность в денежных вопросах.

– Поместить?.. Но ведь это не твои деньги...

– Ах в самом деле, я тебе не сказала... – Она покраснела, взгляд её затуманился, как всегда при малейшем искажении истины... Добряк

Дешелетт, узнав, что она делает для Жозефа, написал ей, что эти деньги помогут ей воспитать крошку. – Но, знаешь, если тебе это неприятно, я возвращу эти восемь тысяч франков; Дешелетт сейчас в Париже...

Голоса супругов Эттэма, ушедших скромно вперед, раздались под деревьями:

– Направо или налево?

– Направо, направо... к прудам!.. – крикнула Фанни; затем, обратясь к любовнику, сказала: – Послушай, не начинай, пожалуйста, снова мучиться разными глупостями... Мы ведь не первый день сошлись с тобою, чёрт побери!..

Она знала что значит эта бледность, это дрожание губ, этот пытливый взгляд на малютку, вопрошавший его всего, с головы до ног; но на этот раз это была лишь бессильная пытка на проявление ревности; он дошел уже до подлости, до привычки, до уступок ради сохранения мира.

– Зачем я буду терзать себя, доискиваться сути вещей?.. Если это её ребенок, то что же преступного в том, что она взяла его к себе, скрыв от меня правду, после стольких сцен, после всех допросов, которым я подвергал ее? Не лучше ли примириться с тем, что случилось, и провести спокойно остающиеся несколько, месяцев?

Он шел вперед по лесной тропинке, нагруженный тяжелой корзиной, закрытой белым, покорный, усталый, сгорбившись как старый садовник, меж тем как впереди него рядом шли женщина и ребенок – Жозеф, одетый по праздничному, и неловкий в своем новом костюме, купленном в магазине Бель-Жардиньер, мешавшем ему бегать, и Фанни в светлом пеньюаре, с открытыми головой и шеей, защищенными лишь японским зонтиком, растолстевшая, с рыхлой походкой, а в прекрасных, черных, волнистых волосах её виднелась прядь седины, которую она уже не старалась скрывать.

Впереди, по спускающейся тропинке, двигались супруги Эттэма в огромных соломенных шляпах, похожих на шляпы всадников-туарегов, одетые в красную фланель, нагруженные провизией, снастями для рыбной ловли, сетками и корзинами для ловли раков; жена, чтобы облегчить ношу мужа, храбро несла привешенный на цепи на своей исполинской груди охотничий рог, без которого для чертежника прогулка по лесу была немислима. На ходу супруги пели:

«Люблю плеск весел ночью темной,»

«Люблю призывный крик оленя»...

Репертуар Олимпии был неисчерпаем по части этих уличных сентиментальных пошлостей: а когда вспоминалось, где она их заучила, в позорной полутьме задернутых занавесок и скольким мужчинам она их певала, то ясное спокойствие мужа, вторившего ей, получало особенное величие. Слова гренадера под Ватерлоо «их так много!» были по всей вероятности, главной причиной философского спокойствия этого человека.

В то время, как Госсэн мечтательно поглядывал на исполинскую парочку, углубляющуюся в долину, вслед за которой спускался он сам, по аллее пронесся скрип колес вместе со взрывами безумного хохота детских голосов; и вдруг, в нескольких шагах от него, показалась английская тележка, запряженная осликом, и полная девочек, с распущенными волосами и развевавшимися лентами; молоденькая девушка, немного постарше остальных, вела ослика под уздцы по тяжелой в этом месте дороге.

Было нетрудно заметить, что Жан принадлежал к тому же обществу, странный вид которого, и особенно толстая дама, с охотничьим рогом на груди, так развеселил молодую компанию; девушка пробовала хоть на минуту водворить тишину среди детей. Но появление еще одной шляпы туарега вызвало в них новый взрыв насмешливой веселости, и проходя мимо Жана, который посторонился, чтобы дать проехать тележке, она смущенно, как бы извиняясь, улыбнулась, удивленная тем, что у старого садовника такое молодое и кроткое лицо. Он застенчиво поклонился и покраснел, сам не зная отчего; тележка на минутку остановилась на вершине холма и молодые голоса хором начали читать вслух полустертые дождями надписи на столбах, указывавших дорогу; затем Жан обернулся и посмотрел, как исчезал в зеленой аллее, просвеченной солнцем и выстланной мхом, по которой колеса катились как по бархату, – этот вихрь белокурых детей и девушек, эта колесница счастья, полная весенних красок и смеха, то и дело раздававшегося под сенью деревьев.

Свирепый звук рога Эттэма вдруг вывел его из задумчивости. Они были уже на берегу пруда, вынимали и развертывали провизию, и издали было видно, как светлая вода отражает и белую скатерть на зеленой короткой траве и: красные фланелевые фуфайки, сверкающие в зелени, как куртки охотников.

– Идите же... у вас омар... кричал толстяк.

А Фанни нервным голосом спрашивала:

– Тебя остановила на дороге молоденькая Бушуро?

Жан вздрогнул при имени Бушуро, напомиравшем ему родной дом, Кастеле, и больную мать в постели.

– Ну, да, – подтвердил чертежник, принимая у него из рук корзину... – Большая девица, которая правила, племянница доктора, одна из дочерей его брата, которую он взял к себе. Они живут летом в Велизи... Она хорошенькая.

– Хорошенькая?.. Нахальна, главным образом... – и Фанни, резавшая хлеб, беспокойно взглянула на своего любовника.

Госпожа Эттема, степенно вынимая из корзины ветчину, порицала эту манеру позволять молодым девушкам одним бегать и ездить по лесу. – Вы скажете, что это английская мода, и что девица воспитывалась в Лондоне; но все равно это неприлично!

– Неприлично, но весьма удобно для приключений!

– Фанни!..

– Извини, я забыла... Он верит в существование невинных девушек...

– Послушайте, давайте завтракать, – сказал Эттэма, начиная бояться.

Но Фанни надо было высказать все, что она знает о светских молодых девушках. Она знает о них преинтересные истории... Пансионеры, монастыри... Девушки выходят оттуда бледные, изнуренные, без сил, с отвращением к мужчинам, неспособные рожать детей...

– Тогда-то вам их и подносят, чёрт побери!.. Невинность... Как будто существуют невинные девушки! Светские или несветские и – все девушки знают, вокруг чего все на свете вертится... Мне уже в двенадцать лет узнавать было нечего... Вы также, по всей вероятности, Олимпия?..

– Разумеется... – ответила госпожа Эттэма, пожимая плечами; но всего больше ее беспокоила участь завтрака, когда она услышала, что Госсэн начинает раздражаться, заявляя, что существуют девушки и девушки, и что в порядочных семьях еще можно найти...

– Ах, в порядочных семьях, в порядочных семьях! – с презрением ответила его любовница. – Стоит о них говорить; например, хоть о твоей семье!

– Молчи!.. Я тебе запрещаю...

– Мещанин!

– Распутница!.. к счастью все это скоро кончится... Недолго уж мне жить с тобой...

– Пожалуйста, пожалуйста, убирайся к чёрту хотя сейчас, я буду только рада...

Они осыпали друг друга оскорблениями, возбуждая нездоровое любопытство в ребенке, лежавшем на траве, как вдруг ужасающий звук рога, усиленный в сто раз эхом пруда, и отраженный стеною леса, покрыл собою их крики.

– Не довольно ли с вас?.. Или хотите еще?

Красный, с надувшимися на шее жилами, толстяк Эттэма не нашел иного способа заставить их замолчать, и ждал ответа, угрожая приставив отверстие рога к губам.

Глава 9

Обычно ссоры их бывали непродолжительны и кончались после ласковых объяснений Фанни, или после её музыки; но на этот раз Жан рассердился не на шутку, и несколько дней кряду хранил угрюмую складку на лбу и мстительное молчание; как только кончался обед, он садился чертить, отказываясь от всяких прогулок с нею.

Его словно охватил стыд за ту отвратительную жизнь, которую он вел, и боязнь встретить еще раз маленькую английскую тележку, поднимающуюся вверх по лесной дороге и чистую юную улыбку, о которой он постоянно думал. Затем как тускнеющая уходящая мечта, как декорация в феерии, которая убирается, чтобы уступить место следующей, видение стало смутным, затерялось в лесной дали, и Жан не видал его больше. В глубине души осталась лишь грусть, причину которой Фанни, как ей казалось, угадала и она решила это выяснить.

– Конечно, – сказала она однажды с веселым видом... – Я была у Дешелетта... и вернула ему деньги... Он, как и ты, находит, что так лучше; не знаю, впрочем, почему... Ну, как бы то мы было, дело сделано... Впоследствии, когда я буду одна, он позаботится о малютке... Доволен ли ты?.. Или все еще продолжаешь сердиться на меня?

Она рассказала ему про свое посещение мастерской на улице Ром и про то, как она была удивлена, найдя вместо веселого и шумного караван сарая, полного безумствующей толпой, – мирный, буржуазный дом, вход в который строго охранялся. Никаких праздников, никаких маскарадов; объяснение этой перемены приходилось искать в словах, которые какой-то непринятый и озлобленный этим паразит, написал мелом над входной дверью в мастерскую: заперто по случаю «связи».

– И это правда, мой милый... Дешелетт по приезде влюбился в одну из девушек на скетинг-ринге, в Аливу Дорэ; взял ее к себе и вот уже с месяц живет с нею по-семейному... Она маленькая, очень милая, очень кроткая, прелестный барашек... Живут тихо, тихо... Я обещала, что мы придем к ним в гости; это послужит нам некоторым отдыхом от дуэтов и охотничьего рога... Но подумай, пожалуйста, философ-то наш, с его теориями! «Не признаю завтрашнего дня, не признаю временных браков»... Да уж и посмеялась же я над ним!

Жан отправился с нею к Дешелетту, которого не видел со времени их встречи на площади Мадлэны. Он очень удивился бы, если бы ему сказали

в то время, что он дойдет до того, что будет без отвращения бывать у этого циничного любовника Фанни, и сделается почти его другом. Но с первого же визита Жан был удивлен, чувствуя себя так свободно, очарованный кротостью этого человека, добродушно, по-детски, смеявшегося в свою казацкую бородку, и ясностью его духа, на которую несколько не влияли жестокие припадки печени, придававшие его лицу свинцовый оттенок и проводившие синие круги под его глазами.

Как легко было понять ту глубокую нежность, которую он внушил Алисе Дорэ, с её длинными, нежными белыми руками, с характерной красотой блондинки, но с изумительным, чисто фламандским цветом лица, золотистым как её имя. Золото было в её волосах, в глазах, сверкавших из-под золотистых ресниц, золотом отливала её кожа даже под ногтями.

Подобранная Дешелеттом на асфальтовом полу роликовой площадки, среди грубостей и резкостей торгового двора, среди клубов дыма, изрыгаемых мужчинами вместе с цифрами в нарумяненные лица доступных женщин, она была изумлена и растрогана его вежливостью. Из бедного животного, служащего для наслаждения, которым в сущности она была, она вдруг превратилась в женщину; когда Дешелетт согласно своим правилам, утром хотел отослать ее, угостив сытным завтраком и снабдив несколькими золотыми, на душе у неё стало так тяжело, и она с такою кротостью, с такою задушевностью попросила его «оставить ее еще немного»... что у него не хватило сил отказать ей в этом. С тех пор, частью вследствие усталости, частью же из уважения к ней, он запер дверь своего дома и отдался этому неожиданному медовому месяцу в тишине и свежести своего летнего дворца, так хорошо приспособленного для покоя; они жили, счастливые, она, наслаждаясь заботами и нежностью, которых до сих пор не знала, а он – счастьем, которым дарило это бедное существо, и её наивной благодарностью, безотчетно и впервые предаваясь острой прелести близости с женщиной, таинственным чарам жизни вдвоем, в обоюдной доброте и кротости.

Для Госсэна мастерская на улице Ром была отдыхом от той низкой, мещанской жизни мелкого чиновника, с незаконною сожительницею, которую он вел; он наслаждался беседой с этим ученым со вкусами художника, этого философа в персидской одежде, легкой и изменчивой, как его учение, увлекался рассказами о путешествиях, которые Дешелетт набрасывал в немногих словах и которые так подходили к восточным тканям, окружавшим его, к золоченым изображениям Будды, к причудливым фигурам из бронзы, ко всей экзотической роскоши огромного зала, куда свет проникал сверху, словно в глубине парка, на легкую зелень

бамбуковых деревьев, на вырезные листья древовидных папоротников и на огромную листву филодендров, тонких и гибких, как водоросли жаждавших тени и влаги.

Особенно по воскресеньям, это огромное окно, выходившее на пустынную улицу летнего Парижа, шелест листьев и запах свежей земли напоминали деревню, почти так же, как Шавиль, но без соседства и без охотничьего рога супругов Эттэма. Никто никогда не приходил; впрочем, однажды Госсэн и его любовница, приехав к обеду, услышали входя, оживленную беседу нескольких лиц. День склонялся к вечеру, в оранжерее пили ракию и спор велся очень страстно:

– А я нахожу, что пять лет Мазасской тюрьмы, запятнанное имя, разрушенная жизнь – дорогая плата за безумный шаг увлечения... Я подпишу ваше прошение Дешелетт.

– Это голос Каудалья... – сказала Фанни шепотом, дрожа.

Кто-то ответил сухо, словно отказывая:

– Я не подпишу и не хочу иметь ничего общего с этим чудаком...

– Это Гурнери... – сказала Фанни, прижимаясь к любовнику и прошептала: – уйдем отсюда, если тебе неприятно их видеть...

– Почему же? Нисколько!.. – В сущности он не отдавал себе отчета в том, что он почувствует когда очутится в присутствии этих людей, но не хотел отступать перед испытанием желая, быть может, узнать нынешнюю степень той ревности, которая некогда создала его несчастную любовь.

– Пойдем, – сказал он, и оба появились в розоватом свете заката, озарявшем лысые головы и седеющие бороды друзей Дешелетта, лежавших на низких диванах вокруг восточного столика в виде табуретки, на котором в пяти или шести стаканах дрожал молочного цвета напиток с запахом аниса, который разливала Алиса. Женщины поцеловались. – Вы знакомы с этими господами, Госсэн? – спросил Дешелетт, покачиваясь в качалке.

Еще бы, конечно знаком!.. Двоих, по крайней мере, он знал, потому что целыми часами рассматривал их портреты в витринах знаменитостей. Какие страдания причинили они ему, какую ненависть чувствовал он к ним, ненависть преемника, ярость, внушавшую ему желание броситься на них, расцарапать им лицо, когда он встречал их на улице... Но Фанни правильно говорила, что это пройдет; теперь то были для него уже лица знакомых, почти родных далеких дядей, с которыми он когда-то встречался.

– Хорош, по прежнему мальчик!.. – сказал Каудаль, вытянувшись во весь свой огромный рост и держа над глазами экран, чтобы защитить их от света. – Ну, а посмотрим как Фанни... – Он приподнялся на локте и прищурил глаза опытного человека: – лицо еще ничего; но фигура... Тебе

бы следовало затягиваться. Впрочем утешься, дочь моя, Гурнери еще толще тебя.

Поэт с презрением закусил тонкие губы. Сидя по-турецки на кучке подушек – после своего путешествия в Алжир он уверял, что не может сидеть иначе – огромный, толстый, не имея в фигуре ничего интеллигентного, кроме высокого лба под шапкой седых волос, и жесткого взгляда рабовладельца, он нарочно подчеркивал свое светское обращение с Фанни, свою чрезмерную вежливость, словно желая дать урок Каудалью.

Два пейзажиста, с загорелыми деревенскими лицами, дополняли собрание; они также знали любовницу Жана, и младший из них сказал, пожимая ей руку:

– Дешелетт рассказал нам историю с ребенком; это очень хорошо с вашей стороны, дорогая.

– Да, – сказал Каудаль Госсэну, – да, очень шикарно взять его на воспитание... Совсем не банально!

Она казалась смущенной этими похвалами, как вдруг кто-то постучал в соседней пустой мастерской и спросил: «Никого нет?»

Дешелетт сказал:

– Вот и Эзано!

Этого человека Жан никогда не видел; но он знал какое место этот представитель богемы, этот фантазер, в настоящее время утихомирившийся, женатый, начальник отделения в министерстве изящных искусств, занимал в жизни Фанни Легран, и припомнил связку его страстных и очаровательных писем. Появился маленький человек, изможденный, высохший, с деревянной походкой, подававший руку издали, державший людей на расстоянии, вследствие привычки вечно быть на эстраде, в качестве представителя правительства. Он был очень удивлен, увидя Фанни, и особенно найдя ее еще красивой, после стольких лет:

– А-а, Сафо!.. – и мимолетная краска залила его щеки.

Имя Сафо, отодвигавшее ее в прошлое, приближавшее ее ко всем старым друзьям, вызвало некоторую неловкость.

– А это господин Д'Арманди, который привел ее к нам, – поспешно сказал Дешелетт, чтобы предупредить пришедшего. Эзано поклонился; беседа возобновилась. Фанни успокоенная поведением своего любовника, и гордясь им, его красотой и молодостью, в присутствии этих знатоков и художников, была очень весела, очень в ударе. Принадлежа всецело своей настоящей страсти, она едва помнила о своих связях с этими людьми; едва помнила годы совместной жизни, налагающие, однако на человека печать привычек и пристрастий, которыми он заражается и которые остаются у

него навсегда; как, например, манера свертывать папиросы, заимствованную ею у Эзано, также как и любовь к мэрилендскому табаку.

Жан без малейшего волнения отметил эту маленькую подробность, которая некогда привела бы его в неистовство, испытывая спокойствие и радость заключенного, подпилившего свою цепь и чувствующего, что ему осталось уже недолго до бегства.

– Эх, бедная моя Фанни, – говорил Каудаль, шутливо указывая ей на гостей. – Какой упадок... Как они состарились, как стали плоски... Только мы с тобою еще и держимся.

Фанни рассмеялась:

– Извините, полковник, (иногда его называли так за его усы) это не одно и то же... я – другого выпуска!..

– Каудаль забывает, что он прадед, – сказал Гурнери; и в ответ на движение скульптора, которого он задел за живое, крикнул пронзительным голосом: – Каудаль получил медаль в 1840-ом году; почтенная дата!..

Между двумя старыми приятелями существовала всегда глухая антипатия и вызывающий тон, который никогда не ссорил их, но проявлялся в их взглядах, в ничтожных словах, и начало которому было положено двадцать лет тому назад, когда поэт отнял у скульптора любовницу. Фанни для них уже давно не имела значения, и тот и другой пережили новые радости и новые разочарования, но вражда продолжала существовать и с годами становилась все глубже.

– Взгляните на нас обоих, и скажите откровенно, кто больше похож на прадеда... – Затянутый в пиджак, обрисовывающий его мускулы, Каудаль стоял прямо, выпятив грудь, потрясая своей огненной гривой, в которой не заметно было ни одного седого волоска. – Получил медаль в 1840 году!.. Будет пятьдесят восемь лет через три месяца... Но что же это доказывает?.. Разве стариками людей делает возраст?.. Только во Французской Комедии да в Консерватории люди в шестьдесят лет уже обладают всеми старческими недугами, трясут головой и ходят, сгорбясь, едва передвигая ноги. В шестьдесят лет, чёрт побери, ходят прямее, чем в тридцать, так как следят за собою! Да и женщины будут еще заглядываться на вас, лишь бы сердце было молодо, согревало бы кровь и оживляло бы вас всего...

– Ты думаешь? – спросил Гурнери, насмешливо поглядывая на Фанни. Дешелетт, с доброй улыбкой, сказал:

– Между тем ты только и говоришь, что на свете всего лучше молодость, ты от неё без ума...

– Малютка Кузинар заставила меня переменить мнение... Кузинар, моя новая натурщица... Восемнадцать лет, кругленькая, с ямочками

повсюду, точно Клодион... и такая добрая – дочь народа, дочь парижского Рынка, где её мать торгует птицей... Она говорит иногда такие глупости, что хочется ее расцеловать... такие... На днях в мастерской она нашла роман Дежуа, прочла заглавие «Тереза» и отбросила его с капризной миной: «Если бы роман этот назывался „Бедная Тереза“, я читала бы его всю ночь...» Я от неё без ума, уверяю вас.

– Вот ты и попал опять в семейные люди?.. А через шесть месяцев снова разрыв, снова слезы, отвращение к работе, гнев на всех...

Лоб Каудалья омрачился:

– Правда, ничего нет прочного... Люди сходятся, расходятся...

– Зачем же тогда сходитьсь?

– Хорошо, а ты? Неужели ты думаешь, что ты всю жизнь проживешь с твоей фламандкой?..

– О, мы ничем не связаны... Не так ли Алиса?

– Разумеется, кротко и рассеянно ответила молодая женщина, стоявшая на стуле, и срезавшая глицинии и зелень для букета к столу. Дешелетт продолжал:

– У нас не будет разрыва, мы просто разойдемся... Мы заключили договор провести вместе два месяца; в последний день мы расстанемся без отчаяния, без удивления... Я вернусь в Исфахан, – я уже заказал себе место в спальном вагоне, – а Алиса переедет снова в свою маленькую квартирку на улице Лабрюнер, в которой жила до сих пор.

– Третий этаж, не считая антресолей; превосходное место, чтобы выброситься из окна.

Говоря это, молодая женщина улыбалась, рыжеволосая и сияющая, в свете заката, с тяжелой кистью лиловых цветов в руке; но тон, которым она произнесла эти слова был так глубок и так серьезен, что никто не ответил.

Ветер свежел, дома напротив казались выше.

– Прошу за стол, – крикнул полковник... – и давайте болтать глупости...

– Да, верно, *gaudeamus igitur*... будем веселиться, пока мы молоды, не так ли Каудаль? – сказал Гурнери с деланным смехом.

Несколько дней спустя, Жан снова проходил по улице Ром, и нашел мастерскую запертой, широкую бумажную штору спущенной во все окно и гробовую тишину во всем доме вплоть до его крыши, в форме террасы. Дешелетт уехал в положенный срок. Жан подумал: «Хорошо в жизни делать то, что хочешь, управлять своим разумом и сердцем! Хватит ли у меня когда-нибудь на это мужества?»

Чья то рука опустилась на его плечо:

– Здравствуйте, Госсэн...

Дешелетт, утомленный, более желтый и хмурый, чем обыкновенно, объяснил ему, что он еще не уехал, задержанный в Париже делами, и что он живет в Гранд-отеле, так как мастерской боится после той ужасной истории...

– Что случилось?

– Да, в самом деле, вы не знаете... Алиса умерла... Убилась. Подождите минутку, я посмотрю, нет ли для меня писем...

Он вернулся тотчас и нервным движением сорвал бандероли с нескольких журналов; говорил он глухо, как во сне, не глядя на Госсэна, шедшего с ним рядом.

– Да, убила себя, бросилась из окна, как сказала в тот вечер, когда вы были у нас... Что было делать?.. Я не знал, не мог подозревать... В тот день, когда я должен был уехать, она сказала мне спокойно: «Увези меня, Дешелетт, не покидай меня одну... Я не смогу больше жить без тебя»... Я расхохотался. Хорошо бы я был там, среди курдов, с женщиной... Пустыня, лихорадки, ночи на бивуаках... За обедом она повторила еще раз: «Я не стесню тебя, ты увидишь, как я буду тиха и кротка...» Затем, видя, что мне это неприятно, она перестала об этом говорить... После обеда мы поехали в театр Вარიете, в бенуар, все было условлено заранее... Она, казалось, была довольна, держала меня все время за руку и шептала: «Мне хорошо». Я уезжал ночью, и по этому отвез ее домой в карете; но оба мы были грустны и всю дорогу молчали. Она даже не поблагодарила меня за маленький сверток который я опустил ей в карман, – деньги, на которые она могла прожить спокойно год или два. Когда мы приехали на улицу Лабрюнер, она попросила меня подняться наверх. Я не хотел. «Прошу тебя... только до двери». Но я выдержал характер и не вошел. Билет был куплен, вещи уложены, и я слишком много говорил, что уезжаю... Спускаясь по лестнице, с тяжестью на душе, я слышал, как она крикнула мне, что то в роде: «быстрее тебя», но понял я это лишь внизу, на улице... Ах!.. Он остановился, глядя в землю, перед тем кошмарным зрелищем, которым теперь ежеминутно чудилось ему на тротуаре, – перед черной, неподвижной и хрипевшей массой...

– Она умерла два часа спустя, не произнеся ни слова, ни жалобы, и глядя на меня своими золотистыми глазами. Страдала ли она? Узнали ли меня? Мы уложили ее на постель одетой, окутав голову широкою кружевной косынкой, чтобы скрыть рану. Смертельно бледная, с капелькою крови на виске, она была еще красива и так кротка!.. Но, когда я нагнулся над нею, чтобы вытереть эту каплю крови, сочившуюся

непрерывно, её взгляд, казалось, принял негодующее и страшное выражение... Бедная девушка послала мне немое проклятие!.. Действительно, что стоило мне остаться еще на некоторое время или увезти ее с собой, ведь она так мало стесняла меня?.. Нет, гордость, упрямство сказанного слова!.. Я не уступил, а она умерла... умерла из-за меня, а ведь я ее любил!

Он был возбужден, говорил громко, вызывая удивление прохожих, которых толкал, шагая по Амстердамской улице; Госсэн, проходя мимо своей прежней квартиры, которую он узнал по балкону, припоминал Фанни и свой собственный роман и чувствовал себя охваченным какою-то дрожью. А Дешелетт между тем продолжал:

– Я отвез ее на Монпарнасское кладбище, без друзей, без родных. Мне хотелось быть с нею одному, заботиться о ней: а с тех пор я здесь, и все думаю об одном и том же, не могу решиться уехать с этой навязчивою мыслью, и бегу от дома, где провел с ней два месяца, таких счастливых, таких ясных... Я живу по чужим местам, скитаюсь, хочу рассеяться, убежать от этого взгляда покойницы, обвиняющего меня из под струйки крови...

И, остановясь, охваченный угрызением совести, с двумя крупными слезами, скатившимися на курносое лицо, такое добродушное, такое жизнерадостное, он сказал:

– Видите ли, друг мой; а меж тем я не зол... И, однако, как ужасно, то, что я сделал!..

Жан пытался его утешить, относя все на счет случая, рока; но Дешелетт повторял, покачивая головою и сжав зубы:

– Нет, нет... Я никогда себе этого не прощу... Я хотел бы себя наказать...

Это желание искупления не переставало преследовать его; он говорил о нем всем друзьям, Госсэну, за которым он заходил по окончании службы...

– Уезжайте, наконец, Дешелетт... Путешествуйте, работайте, это вас развлечет... – твердили ему Каудаль и другие, обеспокоенные его навязчивыми мыслями и упорством, с которым он повторял, что он не злой. Наконец, однажды вечером, – хотел ли он проститься со своей мастерской перед отъездом, или его привел туда совершенно определенный план покончить со своими страданиями, – он вернулся в свой дом, а утром рабочие, шедшие из предместья на работу, подняли его на тротуаре, перед входом в его жилище, с раздробленным черепом – умершего той же добровольною смертью, какой умерла любившая его женщина, в том же

припадке ужаса и отчаяния, бросивших его на улицу.

В полусвете мастерской толпились художники, натурщицы, актрисы, – все танцевавшие, все ужинавшие на последних праздниках в этом доме. Слышался непрерывный шум шагов, шёпот, словно в часовне, освещенной кротким пламенем восковых свечей. Сквозь лианы и другие растения смотрели на тело, выставленное под шелковым покровом затканым золотыми цветами, с прикрытой чем-то вроде тюрбана головой, с белыми руками, говорившими о беспомощности, о высшем освобождении, и лежавшее в тени глициний, на низком диване на котором Госсэн в ночь бала познакомился со своей любовницей.

Глава 10

Итак, от любовных разрывов иногда умирают... Теперь, во время ссор, Жан боялся говорить о своем отъезде и не кричал больше вне себя: «К счастью, все это скоро кончится»... Она могла ему ответить: «Хорошо, уходи... а я убью себя, как Алиса...» И эта угроза, которую он, казалось, видел в её грустных взорах, слышал в песнях, которые она пела, чувствовал в грезах её молчаливых минут, приводила его в ужас.

Тем временем, он сдал экзамены, которыми заканчивается для прикомандированных к консульству пребывание в министерстве. Так как он был на хорошем счету, то его должны были назначить на одну из первых освободившихся вакансий; теперь это был уже вопрос недель и дней... а вокруг них, в конце этого лета, под солнышком, блиставшим все реже и реже, все стремилось к зимним переменам. Однажды утром Фанни, открыв окно и увидев первый туман, воскликнула:

– Ах, ласточки уже улетели!..

Один за другим закрывали свои ставни дома более зажиточных владельцев; по Версальской дороге тянулись возы с вещами, огромные деревенские омнибусы, нагруженные узлами, с султанами зеленых растений наверху; листья деревьев кружились вихрями, уносились словно облако под низким небом, а на убранных полях вырастали стога. За фруктовым садом, обнаженным и казавшимся меньше от облетевших деревьев, запертые дачи и сушильни прачечных с красными кровлями вселяли грусть, а по другую сторону дома обнаженный железнодорожный путь вдоль почерневшего леса развертывал свою темную линию.

Как было бы жестоко бросить ее здесь одну, среди этой грустной обстановки! Он чувствовал, что на сердце у него холодеет от этой мысли; никогда у него не будет смелости сказать «прости»! На это она, собственно и рассчитывала, поджидая последней минуты, а до тех пор, спокойная, не говорила ни о чем, верная своему обещанию не препятствовать его отъезду, предвиденному и условленному заранее. Однажды он вернулся домой с новостью:

– Я получил назначение!..

– Неужели!.. Куда же?..

Она спрашивала, с виду равнодушная, но губы её побледнели, а глаза приняли такое выражение, лицо свело такую судорогой, что он поспешил сказать: «Нет, нет... не на этот раз! Я уступил свою очередь Эдуэну... Это

отодвигает мой отъезд по крайней мере на полгода!»

Полились потоки слез, смеха, безумных поцелуев, среди которых можно было разобрать: «Спасибо, спасибо... Какую чудную жизнь я устрою тебе теперь!.. ведь меня и сердила именно эта мысль об отъезде»... Теперь она лучше приготовится к нему, примирится с ним мало-помалу; через полгода будет уже не осень и забудутся эти рассказы о смерти.

Она сдержала слово; не было ни нервных вспышек, ни ссор; и даже, во избежание помехи со стороны ребенка, она решила отдать его в пансион в Версаль. Он приходил домой только по воскресеньям, и если новый порядок не изменил еще его дикой и мятежной природы, то по крайней мере, внушил ему уменье лицемерить. Жан и Фанни жили покойно, обеды проходили без бурь, в обществе супругов Эттэма. Рояль нередко открывался для любимых партитур. Но, в сущности, Жан был более смущен и в большом затруднении, чем когда бы то ни было, спрашивая себя, куда его приведет его слабость и, подумывая иногда о том, чтобы отказаться от службы консула и перейти на службу в канцеляриях! Это означало, Париж, продолжение настоящего образа жизни; а мечты его юности должны были рухнуть, и отчаяние родных и ссора с отцом были неизбежны; отец не простит ему этой распущенности, особенно, когда узнает её причину!

И ради кого? Ради женщины постаревшей, поношенной, которую он уже не любил, в чем он имел возможность убедиться недавно, в присутствии её любовников... Что же за проклятие таилось в их совместной жизни?

Когда, однажды утром, в последних числах октября, он вошел и сел в вагон, взгляд молодой девушки, обращенный на него, вдруг напомнил ему лесную встречу и сияющую красоту женщины-ребенка, воспоминание о которой преследовало его целые месяцы. Она была одета в тоже светлое платье, на котором в тот день так красиво играли солнечные блики, но на этот раз оно было покрыто широким дорожным плащом; рядом с нею лежали книги, небольшой саквояж и букет последних осенних цветов, говоривший о конце лета, о возвращении в Париж. Она также узнала его по той полуулыбке, которая дрожала в прозрачной, как вода, чистоте его глаз, в течение секунды то было взаимное проникновение в невысказанную, но тождественную мысль каждого.

– Как здоровье вашей матушки, мосье Д'Арманди? – спросил вдруг старик Бушери, которого Жан сначала не заметил, так как тот сидел в углу и читал газету, наклонив бледное лицо.

Жан дал ему сведения, растроганный тем, что кто-то помнил о нем, и о

его родных, и еще более взволнованный, когда молодая девушка стала расспрашивать его о маленьких сестрах, написавших дяде такое очаровательное письмо, благодаря его за заботы об их матери... И так, она их знает!.. Это преисполнило его радости; но, так как в этот день он был особенно чувствителен, он тотчас загрустил, узнав, что они возвращаются в Париж, где Бушери возобновляет свой курс на медицинском факультете. У него уже не будет случая увидеться с нею... Прекрасные поля, бежавшие мимо, показались ему совершенно мрачными.

Раздался протяжный свисток; приехали. Он раскланялся, потерял их в толпе, но у выхода они снова встретились, и Бушери среди шумной толкотни сказал ему, что со следующей недели он принимает у себя, на Вандомской площади... Если он захочет откушать у него чашку чая... Девушка стояла под руку с дядей, и Жану показалось, что приглашает его именно она, хотя и не говорит ни слова.

Решив, что непременно пойдет к Бушери, затем перерешив – к чему причинять себе бесполезные сожаления? – он тем не менее сказал дома, что в министерстве предвидится большой вечер, на котором ему придется быть. Фанни осмотрела его платье и приказала выгладить белые галстуки; и вдруг, уже в четверг вечером, у него пропала всякая охота ехать. Но любовница уговорила его, выставляя на вид необходимость этой повинности, упрекая себя за то, что слишком поглотила его, слишком эгоистично удерживала его дома, в конце концов заставила его поехать; она сама помогла ему одеться, не переставая шутить, завязала галстук, провела рукой по его волосам, смеясь над тем, что пальцы её сохранили запах папироски, которую она ежеминутно брала и, затянувшись, клала обратно на камин, и что этот запах заставит поморщиться дам, которые будут танцевать с ним. Она была так весела и добра, что он уже раскаивался в своей лжи и охотно остался бы близ неё у камина, если бы Фанни не отправила его со словами: «Я хочу... Так надо», и не вытолкала было шутя на темную дорогу.

Он вернулся поздно; она спала, и лампа освещала её усталый сон, напомнила ему подобное же возвращение три года тому назад, после ужасных разоблачений, которые были ему сделаны. Каким трусом выказал он себя тогда! В силу какого заблуждения то, что должно было порвать его цепи только плотнее сковало его?.. Его охватило отвращение к себе. Комната, кровать, женщина – одинаково внушали ему ужас; он взял лампу и тихонько унес ее в соседнюю комнату. Ему так хотелось быть одному, подумать о том, что с ним делается... так, что-то почти незаметное...

Он влюблен!

В некоторых словах, произносимых нами ежедневно, есть какая то скрытая пружина, которая вдруг открывает их до дна, дает нам возможность понять их сокровенный смысл затем слово вновь принимает свою повседневную форму и произносится без всякого значения, в силу одной лишь привычки, машинально. Любовь одно из таких слов; тем для кого смысл его раскрылся вполне, поймут сладкую тревогу, в которой Жан пребывал уже целый час, не отдавая себе отчета в том, что он испытывает.

Там, на Вандомской площади, в углу гостиной, где они долго беседовали друг с другом, он ощущал лишь огромное, сладостное блаженство, чувство счастья, охватившее его. Очутившись за дверью, он вдруг почувствовал безумное веселье, а затем такую слабость, словно у него открылись. «Что со мной, Боже мой»?.. Париж, по которому он шел, направляясь домой, казался ему иным, волшебным, широким, сияющим. Да, в этот час, когда выходят и бродят по городу ночные твари, когда в сточных трубах поднимаются и разливаются грязь и тина, и словно кишат под желтым светом газа, он, любовник Сафо, жаждавший изведать все тайны разврата, он видел Париж таким, каким видела его молодая девушка возвращаясь с бала с мелодиями вальса, звучащими у нее в ушах и напевающая их звездам, вся белая, в белом наряде... Он видел целомудренный Париж, залитый лунным светом, в котором расцветают девственные души!.. И вдруг, когда он шел по широкой лестнице вокзала, уже подходя к своему нечистому жилищу, он произнес в слух: «Но ведь я люблю ее!.. Люблю!» Вот как он узнал об этом.

– Жан ты здесь!.. Что ты делаешь?

Фанни проснулась и испугалась, не видя его около себя. Надо подойти к ней, поцеловать ее, надо лгать, рассказывать про бал в министерстве, надо описать туалеты и сказать с кем он танцевал; чтобы избежать допроса и особенно ласк, которых он теперь особенно боялся, всецело проникнутый воспоминаниями о другой, он сослался на спешную работу на чертежи для Эттэма...

– В камине нет огня; ты озябнешь!

– Нет, нет...

– По крайней мере оставь дверь открытою, чтобы я могла видеть твою лампу...

Надо довести обман до конца; он устанавливает стол раскладывает чертежи; потом сидя не двигаясь и затаив дыхание, он отдается воспоминаниям и, чтобы запечатлеть свои грезы, поверяет их в длинном письме дяде Сезару, меж тем как ночной ветер качает хрустящими ветвями без листьев; друг за другом с грохотом отходят поезда, а иволга, сбита с

толку светом волнуется в своей клетке, и нерешительно щебеча, прыгает с одной перекладины на другую.

Он рассказывает все: свою первую встречу в лесу, сцену в вагоне, странное волнение при входе в гостиные Бушери, которые казались ему такими мрачными и трагическими в дни приема – с беглым шепотом в дверях, с печальными взглядами, которыми обменивались ожидавшие больные – и которые сегодня раскрывались длинной сверкающей анфиладой, шумные веселые... Сам Бушери не глядел сегодня сурово, с пытливым и зорким взглядом черных глаз из-под густых нависших бровей, но хранил на лице спокойное выражение человека, который рад, что у него в доме веселятся.

«Вдруг она подошла ко мне, больше я ничего не видел... Друг мой, ее зовут Иреной. Она красива, по-видимому, добра, с рыжеватым оттенком волос, как у англичанок, с детским ротиком, вечно готовым смеяться... Но не тем смехом, лишенным всякой веселости, который так раздражает во многих женщинах; в ней это – подлинное проявление молодости и счастья. Она родилась в Лондоне; но её отец был француз, и она говорит без всякого акцента, только как-то особенно очаровательно произносит некоторые слова, например слово „дядя“, чем вызывает каждый раз ласковую улыбку в глазах старика Бушери. Он взял ее к себе, чтобы несколько облегчить огромную семью брата и заменить ею старшую сестру вышедшую замуж два года тому назад за главного врача его клиники. Но ей врачи ужасно не нравятся... Как она забавно высмеивала глупого молодого ученого, требовавшего от своей невесты формального, торжественного обещания завещать их тела антропологическому обществу!.. Она – перелетная птица. Она любит лодки, море; при виде бушприта у неё захватывает дух... Все это она рассказывала мне свободно, как товарищ, напоминая манерами английскую мисс, но грациозную, как парижанка, а я слушал, восхищенный звуком её голоса, с смехом, сходством наших вкусов, уверенный, что счастье моей жизни тут, у меня в руках, и что мне стоит только схватить его и унести далеко, далеко, куда направит меня моя полная приключений служба!..»

– Иди же, спать дружок, ложись...

Он вздрагивает, останавливается, невольно прячет письмо:

– Сейчас приду... Спи, спи...

Говорит гневно, и, насторожившись, слушает, как дыхание женщины снова становится ровным они так близко один от другого, и в то же время так далеко!

«Что бы ни случилось, эта встреча и эта любовь будут моим

освобождением. Ты знаешь мою жизнь; ты понял без слов, что она все та же, прежняя, что я не мог освободиться. Но ты не знал того, что я чуть было не пожертвовал моим положением, всем будущим этой роковой привычке, в которую я с каждым днем все более и более погружался. Теперь я нашел ту точку опоры, которой мне не доставало; чтобы не поддаваться больше моей слабости, я поклялся что поеду на службу лишь свободным и брошу все прежнее... Убегу завтра»...

Он не убежал ни на следующий, ни в один из ближайших дней. Нужен был способ, предлог, нужна была ссора, во время которой говорят: «Я ухожу», и не возвращаются; Фанни казалась кроткой и веселой, как в самое первое время их совместной жизни.

Написать ей «все кончено» безо всяких объяснений?.. Но эта женщина не покорится, будет стараться его увидеть, явится к нему на квартиру, на службу. Нет лучше встретить ее лицом к лицу, убедить ее в неизбежности этого разрыва, и без гнева, без жалости перечислить ей все основания для него.

Но вдруг его снова охватил страх: ему припомнилось самоубийство Алисы Доре. Перед их домом, по другую сторону дороги, был переулочек, спускавшийся к железнодорожному пути и запертый барьером; соседи проходили им когда спешили, чтобы дойти до вокзала по шпалам. Его воображение южанина рисовало ему после сцены разрыва его любовницу, бегущую через дорогу, бросающуюся в переулок и падающую под колеса поезда, увлекающего ее с собою. Этот страх владел им до такой степени, что одно воспоминание о калитке обвитой плющом, заставляло его постоянно откладывать объяснение.

Если бы у неё еще был друг, кто-нибудь, кто мог бы охранить ее, помочь ей, в первые минуты отчаяния; но живя замкнуто, как суслики, они не знали никого, кроме Эттэма, этих чудовищных эгоистов, лоснившихся от жира и ставших совершенно звероподобными, благодаря приближению зимы, которую они собирались провести как эскимосы; несчастной в её отчаянии и одиночестве решительно не к кому было прибегнуть...

Меж тем порвать было необходимо, и порвать как можно скорее! Несмотря на обещание, данное самому себе, Жан был еще два или три раза на Вандомской площади, каждый раз возвращался оттуда все более и более влюбленным; хотя он ничего не говорил, но радушные встречи старика Бушери, отношение Ирены, в котором наряду с осторожностью, проглядывали нежность, снисходительность и словно взволнованное ожидание объяснения – все торопило его, говорило что медлить нельзя. Мучили его попытка обмана, и предлоги, которые он придумывал для

Фанни, и сознание, что совершил бы кощунство, переходя от поцелуев Сафо к чистому, робкому ухаживанию...

Глава 11

В разгаре этих затруднений, он однажды в министерстве нашел на своем столе визитную карточку господина, заходившего утром уже два раза, как доложил швейцар с чувством должного почтения к следующим титулам:

Госсэн д'Арманди.

Президент Общества Затопления Долины Роны, Член Центрального Комитета для Изучения и Охранения, Делегат Департамента, и проч. и проч.

Дядя Сезар в Париже!.. Фена – делегат, член комитета для охранения!.. Изумление его еще не исчезло, как вдруг появился сам дядя, с черной, как сосновая шишка, головой, с плутоватым взглядом, с веселыми морщинками вокруг глаз, когда он смеялся, с остренькой бородкой, но, вместо обычной двубортной бумазейной куртки, на нем был черный сюртук из модного сукна, несколько широкий на животе и придававший маленькому человечку поистине президентское величие.

Зачем он приехал в Париж? Ради покупки элеватора для затопления своих новых виноградников (слово «элеватор» он произносил с необыкновенной важностью возвышавшей его в собственных глазах), а также и затем, чтобы заказать скульптору свой бюст, которым товарищи желали украсить залу совета.

– Ты видел, – со скромным видом прибавил он, – они избрали меня председателем... Моя идея о затоплении виноградников производит фурор по всему Югу... Кто бы подумал, что я, Фена, на пути к тому, чтобы спасти все вина Франции!.. Значит, и чудачки нужны на свете!

Но главной целью его приезда был все же разрыв с Фанни. Понимая, что дело затягивается, он приехал помочь. – Я, ведь, в этих делах опытен, пожалуйста не думай!.. Когда Курбебес бросил свою Морна, чтобы жениться... – Но, прежде чем приступить к рассказу, он остановился, расстегнул сюртук и вынул небольшой бумажник, туго набитый деньгами.

– Прежде всего избавь меня от этого... Да, деньги... Это выкуп...

Он не понял движения племянника, и думая, что тот отказывается из скромности, сказал:

– Бери же! Бери! Я счастлив, что могу сделать для сына хоть часть

того, что сделал для меня его отец. Кроме того и Дивонна тоже находит, что так нужно. Она посвящена во все, и рада, что ты собираешься жениться и стряхнуть с себя эту старую обузу.

В устах Сезара, после услуги, оказанной ему любовницей Жана, слова «старая обуза» показались последнему несколько несправедливыми, и он не без горечи ответил:

– Спрячьте ваш бумажник, дядя... Вы знаете лучше, чем кто-либо, насколько деньги безразличны для Фанни.

– Да, она была добрая женщина... – сказал дядя похоронным тоном и прибавил, подмигнув:

– Пусть деньги все-таки останутся у тебя... В виду соблазнов вашего Парижа, они у тебя будут целее, чем у меня; к тому же деньги при разрыве так же нужны, как при дуэли...

Затем он встал, заявляя, что умирает с голоду, и что этот важный вопрос всего лучше обсудить за завтраком, с вилкой в руке. Все та же насмешливая легкость южанина в отношении к женщине!

– Между нами, малютка... (они сидели в ресторане на Рю-де-Бургонь, и дядя расцвел, заложив салфетку за ворот, меж тем как Жан совершенно не мог есть), я нахожу, что ты смотришь на вещи слишком трагически. Я знаю, что первый шаг труден и объяснение тяжело, но если ты на это не решаешься, не говори ничего, сделай как Курбебес. До самого дня свадьбы, Морна ничего не подозревала. По вечерам, уходя от невесты, он отправлялся в театр за певицей и провожал ее домой. Ты скажешь, что это не корректно и не честно? Но что же делать, когда человек не любит сцен, и особенно с такими женщинами, как Паола Морна!.. Ведь этот высокий, красивый малый лет десять дрожал перед этой смуглой девчонкой! Чтобы разорвать, надо было хитрить, пускаться на разные обходы...

И вот как он взялся за дело:

Накануне свадьбы, пятнадцатого августа, в праздник, Сезар предложил малютке Морна поехать в Иветт ловить рыбу. Курбебес должен был присоединиться к ним позже, к обеду; все трое вернулись бы на другой день к вечеру, когда воздух Парижа несколько очистился бы после пыли, ракет и площадок иллюминации. Сказано – сделано. Оба они растянулись на траве, на берегу маленькой речки, сверкавшей и журчащей между низкими берегами, среди зеленых лугов, под густыми ивами. За рыбной ловлей следовало купанье. Не в первый раз Паола и он, как добрые товарищи, купались вместе; но в этот день маленькая Морна, с обнаженными руками и ногами, с телом, тесно обтянутым купальным костюмом была так очаровательна, а с другой стороны Курбебес предоставил ему полную

свободу... Ах!.. шельма!.. Вдруг она обернулась и сурово взглянула ему прямо в глаза:

– Послушайте, Сезар; чтобы этого никогда больше не было!

Он не настаивал, боясь испортить дело, он сказал себе: «Оставим это до вечера».

Обед прошел весело на деревянном балконе ресторана, среди двух флагов, вывешенных хозяином в честь пятнадцатого августа. Было жарко, сладко пахло сеном и слышны были звуки барабанов, хлопушек и шарманки.

– Как скучно, что Курбебес приедет только завтра! – сказала Морна, потягиваясь, с глазами повеселевшими от шампанского. – Мне хотелось бы позабавиться сегодня вечером.

– А я то на что?

Он подошел, облокотясь на перила балкона, еще горячая от дневного солнца, и, щупая почву, игриво обхватил рукою её талию: – Ах, Паола!.. Паола!.. – На этот раз певица не рассердилась, а расхохоталась так громко и так заразительно, что он последовал её примеру. Новая попытка, и таким же образом отвергнутая вечером по возвращении с гулянья, где они танцевали и ели миндальное пирожное; и так как их комнаты были рядом, она напевала ему сквозь перегородку: «Ты слишком мал, ты слишком мал!..» приводя невыгодные для него сравнения с Курбебесом. Он едва сдерживался, чтобы не сказать ей, что она овдовела; но было еще слишком рано... На следующее утро, сядя за вкусный завтрак, когда Паола высказывала нетерпение по поводу того, что Курбебес не приходит, он с некоторым удовлетворением вынул часы из кармана и торжественно сказал:

– Двенадцать часов, все кончено...

– Что?

– Он обвенчан.

– Кто?

– Курбебес. Бац!

– Ах, друг мой, что это была за оплеуха!.. Во всех моих любовных приключениях я ни разу не получал такой! И она тотчас захотела ехать в город... Но до четырех часов не было поезда... А в это время изменник удирал в Италию с женою! Тогда, в бешенстве, она набрасывается на меня, бьет, царапает... Вот тебе и раз!.. И я же сам запер дверь на ключ! Затем принимается бить посуду, и, наконец, падает в ужасной истерике. Пятеро человек укладывают ее в постель, держат, меж тем как я, до такой степени исцарапанный, словно вывалился в кустах терновника, бегу за доктором в Орсе... В подобных случаях, как при дуэлях, следует всегда иметь при себе

доктора. Можешь ли вообразить меня, бегущего натошак по дороге, в зной... Только к вечеру привел я доктора... Вдруг, подходя к трактиру, слышу голоса и вижу под окнами толпу... Ах, Боже мой, не убила ли она? Не убила ли кого-нибудь? Морна была более способна на последнее... Я бросаюсь вперед, и что же вижу?.. Балкон разукрашен венецианскими фонарями, а певица стоит, утешенная и великолепная, закутанная в один из флагов и во все горло распевает Марсельезу, в разгаре празднества в честь императора, при громких кликах одобрения народа...

– Вот каким образом, друг мой, была разорвана связь Курбебеса; я не скажу тебе, что все кончилось сразу. После десятилетнего заточения, всегда надо рассчитывать на некоторое время надзора. Но, словом, самое бурное прошло на моих глазах; если хочешь, я готов принять все это и от твоей любовницы.

– Ах, дядя, она совсем другой человек!

– Полно, пожалуйста, – сказал Сезар, распечатывая коробку с сигарами, и поднося ее к уху, чтобы убедиться в их сухости. – Ведь не ты первый ее бросаешь...

– Это, положим, верно...

Жан с радостью ухватился за эту мысль, которая несколько месяцев тому назад принесла бы ему много горя. В сущности, дядя, с его комическим рассказом, несколько успокоил его; но чего он не мог допустить, так это лжи в течение целого ряда месяцев, лицемерия, раздвоения; на это он никогда не решится!

– В таком случае, как же ты намерен поступить?

Меж тем как молодой человек боролся со своей нерешительностью, «член совета для охранения» поглаживал бородку, пробовал улыбнуться и принимал эффектные позы; затем он вдруг с небрежным видом спросил:

– Далеко ли он живет отсюда?

– Кто?

– Скульптор, Каудаль, о котором ты говорил мне по поводу бюста... Мы могли бы сходить к нему и спросить о цене, пока мы вместе...

Каудаль, несмотря на всю свою славу, будучи большим мотом, жил все на той же улице Асса, в мастерской, видевшей еще его первые успехи. Сезар, идя к нему, расспрашивал о его положении в художественном мире; он, разумеется, запросит высокую цену, но члены комитета хотят во что бы то ни стало иметь вещь первоклассную...

– О, в этом отношении не беспокойтесь, дядя; если Каудаль только возьмется... – И он перечислял ему все титулы скульптора – члена Академии, кавалера ордена Почетного Легиона и целой кучи иностранных

орденов. Фена широко раскрыл глаза:

– И ты с ним дружен?

– Да, мы с ним большие друзья.

– Только в Париже и можно завязывать такие необыкновенные знакомства!

Госсэну, однако, было стыдно признаться, что Каудаль был когда-то любовником Фанни, и что познакомился он с ним благодаря ей; казалось, однако, что Сезар и сам догадывается об этом:

– Ведь это он вылепил ту Сафо, которая стоит у нас в Кастеле?.. В таком случае, он знаком с твоей любовницей и мог бы помочь тебе в разрыве. Член Академии, кавалер ордена Почетного Легиона – это всегда производит впечатление на женщину...

Жан ничего не ответил, думая, быть может, также использовать влияние на Фанни её первого любовника. А дядя продолжал, добродушно смеясь:

– Кстати, знаешь, бронзовая статуя уже не стоит больше в кабинете отца... Когда Дивонна узнала... когда я имел несчастье сказать ей, что статуя изображает твою любовницу, то она не пожелала, чтобы она осталась там. При странностях консула и при его отвращении к малейшей перемене, это было нелегко сделать, особенно еще от того, что он не знал причины... Ах, эти женщины! Но она устроила все так ловко, что теперь на камине в кабинете твоего отца стоит изображение Тьера, а несчастная Сафо покрывается пылью в «угловой комнате», вместе со старыми таганями и поломанною мебелью; при переноске она получила маленькое повреждение – у неё отломались шиньон и лира. Гнев Дивонны принес ей, по-видимому, несчастье.

Они дошли до улицы Асса. Увидев скромный рабочий характер квартала художников, мастерские с дверями под номерами, похожие на сараи, раскрывавшиеся на обе стороны длинного двора, в глубине которого виднелись будничные здания городских школ с доносившимся из окон непрерывным чтением, председатель «Общества затопления» начал снова сомневаться в способностях человека, живущего в таком скромном месте; но едва войдя в мастерскую Каудалья, он тотчас узнал, с кем имеет дело.

– Ни за что! Ни даже за сто тысяч, ни даже за миллион!.. – зарычал среди беспорядка и запустения мастерской скульптор в ответ на первые слова Госсэна; и, приподнимая с дивана свое исполинское тело, он сказал:

– Бюст!.. Хорошо!.. Но взгляните сюда, на эту грудку алебаstra, расколотого на мелкие куски... Это моя статуя для ближайшего Салона... Я разбил ее ударами молотка... Вот как я отношусь к скульптуре, и, сколь ни

соблазнительна для меня физиономия господина...

– Госсэн д'Арманди... председатель...

Дядя стал перечислять все свои титулы; но их было так много, что Каудаль прервал его и, обращаясь к молодому человеку, сказал:

– Что вы смотрите на меня, Госсэн?... Вы находите, что я постарел?..

Правда, ему вполне можно было дать его возраст при этом освещении, падавшем сверху на впадины и морщины его переутомленного лица кутилы, на его львиную гриву, с плешинами старого ковра, на его обвислые и дряблые щеки и усы, цвета металла, с которого сошла позолота и которые не были ни завиты, ни подкрашены... К чему? Его маленькая натурщица Кузинар бросила его...

– Да, мой милый; ушла с моим литейщиком, с дикарем, с животным... Но ему двадцать лет!..

Произнося эти слова гневно и вместе насмешливо, он ходил взад и вперед по мастерской, отталкивая сапогом мешавшую ему табуретку. Вдруг, останавливаясь перед зеркалом в медной оправе, висевшем над диваном, он взглянул на себя с ужасной гримасой: – До чего я, однако, стал безобразен, до чего одряхлел! Что это?.. словно подгрудок у старой коровы!.. – Он захватил в кулак свою шею, затем с жалобным и комическим видом, с видом бывшего красавца, оплакивающего себя, продолжал: – И подумать, что через год и об этом пожалеешь!..

Дядя был поражен. Что это за академик, который высовывает язык и рассказывает о своих низменных любовных похождениях! Значит чудачки есть повсюду, даже в Академии? И его восторг перед великим человеком уменьшался по мере того, как росло сочувствие к его слабостям.

– Как поживает Фанни?.. Вы все по-прежнему живете в Шавиле? – спросил Каудаль, успокоившись и сев рядом с Госсэном, которого он дружески похлопал по плечу.

– Ах, несчастная Фанни; нам уже недолго жить вместе!..

– Вы уезжаете?

– Да, скоро... Но раньше я женюсь... С нею придется расстаться.

Скульптор при этих словах дико захохотал.

– Bravo! я рад... Отомсти за нас, мальчик, мсти за нас всем этим негодяйкам! Бросай их, обманывай их! Пусть они плачут, несчастные! Ты никогда не сможешь причинить им столько зла, сколько они сделали другим!

Дядя Сезар торжествовал:

– Видишь? Господин Каудаль смотрит на вещи не так трагично, как ты... Взгляните на этого младенца... Он не решается бросить ее из страха,

что она убьет себя!

Жан признался в том впечатлении, которое произвело на него самоубийство Алисы Дорэ.

– Но это не одно и то же, – сказал Каудаль с живостью. – Та была грустная, мягкая женщина, с повисшими руками... Жалкая кукла, в которой было мало набивки. Дешелетт был неправ думая, что она умерла из-за него... Она умерла, потому что устала и ей наскучило жить. Меж тем как Сафо... Ах чёрт побери!.. Эта не убьет себя!.. Она слишком любит любовь и догорит до конца, как свеча, до самой розетки. Она принадлежит к той породе первых любовников, которые никогда не меняют своего ампула и кончают беззубыми, безбровыми, но все же первыми любовниками... Взгляните на меня!.. Разве я убью себя?.. Пусть у меня будет много горя, но я знаю, что одна женщина уйдет и я возьму другую; я всегда буду нуждаться в них... Ваша любовница поступит как я, и она уже не раз так поступала... Только теперь она уже не молода, и это будет труднее...

Дядя продолжал торжествовать:

– Теперь ты успокоился, да?

Жан не отвечал; но его щепетильность была побеждена и решение принято. Они собирались уже уходить, как вдруг скульптор подозвал их и показал им фотографическую карточку, взятую им с пыльного стола, и которую он вытер рукавом. – Взгляните, вот она!.. До чего хороша, злодейка!.. На колени перед нею можно встать... Что за ноги, что за шея!..

Ужасно было видеть эти горящие глаза, слышать этот страстный голос, вместе со старческим дрожанием его грубых пальцев, в которых трепетал улыбающийся образ маленькой натурщицы Кузинар, с округлыми формами, украшенными ямочками.

Глава 12

– Это ты?.. Как рано!..

Она шла из глубины сада, с подолом полным упавших яблок, и быстро взбежала к крыльцу встревоженная смущенным и сердитым выражением лица Жана.

– Что случилось?

– Ничего, ничего... Погода... солнце... Я хотел воспользоваться последним хорошим днем, чтобы пройтись по лесу вдвоем с тобою... Хочешь?

Она вскрикнула, как уличный мальчишка, как делала всякий раз, когда была довольна: «Ах, какое счастье!..» Больше месяца не выходили они из дома, благодаря дождям и ноябрьским бурям. В деревне не всегда бывает весело; все равно, что жить в Ноевом ковчеге, со всеми населяющими его тварями... Ей надо было отдать кое-какие приказания на кухне, так как супруги Эттэма должны были прийти к обеду; Жан, ожидая ее на дворе, на дороге «Pavè des gardes», глядел на маленький домик, согретый этим последним поздним светом, на деревенскую улицу, вымощенную каменными плитами, с прощальным чувством, ласковым и памятливым к местам, которые мы собираемся покинуть.

В раскрытое настежь окно столовой доносилось пение иволги, перемежавшееся с приказаниями, которые Фанни давала прислуге: – Главное, не забудьте, – обед в половине седьмого... Прежде всего подадите цесарку... Ах, я забыла выдать вам скатерть и салфетки... – Её голос звучал весело счастливо, покрывая шум на кухне и пение маленькой птички, заливавшейся на солнце, а ему, знавшему, что их хозяйству осталось всего два часа жизни, эти праздничные приготовления надрывали душу.

Вдруг ему захотелось вернуться в дом, сказать ей все сразу; но он побоялся слез, ужасной сцены, которую услышат соседи, скандала, который поставит на ноги весь Верхний и Нижний Шавиль. Он знал, что, когда она даст себе волю, то для неё ничего не существует и остался при прежней мысли увести ее в лес.

– Вот и я!..

Легко подошла к нему, взяла его под руку, советуя ему говорить тише и проходить быстрее мимо соседей, из опасения, как бы Олимпия не захотела идти с ними и помешать их славной прогулке. Она успокоилась лишь когда

перешли дорогу и оставили за собою железнодорожный путь, откуда они свернули налево в лес.

Погода была мягкая, ясная, солнце было подернуто легкой серебристой дымкой, пронизывавшей весь воздух; оно медлило на откосах, где некоторые деревья, с пожелтелыми, но еще уцелевшими листьями, высоко поднимали вверх сорочки гнезда и пучки зеленой омелы. Слышалось пение птиц, непрерывное, словно визг пилы, и постукивание клюва по дереву, которое напоминает топор дровосека.

Они шли медленно, оставляя следы на мягкой земле, размытой осенними дождями. Ей было жарко, оттого что она бежала, щеки её горели, глаза блистали, и она остановилась, чтобы откинуть широкую кружевную косынку, подарок Розы, которую, выходя из дому, она накинула на голову – драгоценный и хрупкий остаток прошлого великолепия. Её платье из черного шелка, лопнувшее под рукавами и на талии, было знакомо ему уже года три; когда она поднимала его, проходя мимо Жана через лужи, он видел стоптанные каблуки её ботинок.

Она весело мирилась с этой бедностью, никогда не жаловалась, занятая только им, его благополучием, и счастливая тем, что может дотрагиваться до него, обеими руками охватив его руку. Жан, видя ее помолодевшею от этого возврата солнца и любви, спрашивал себя, откуда берется столько сил у этой женщины, какая чудесная способность забывать и прощать помогает ей сохранять столько веселости и беспечности после жизни полной страстей, превратностей и слез, оставивших следы на её лице, но исчезающих при малейших проблесках веселости.

– Это белый гриб, говорю тебе, что это белый...

Она шла под деревья, увязая по колено в кучах сухих листьев, возвращалась растрепанная и исцарапанная колючками и показывала ему маленькую сетку у подножия гриба, по которой отличают настоящий белый гриб от других: – видишь, какая у него подкладка? – и она торжествовала.

Он не слушал, будучи рассеян и спрашивая себя: «Настала ли минута?.. Следует ли?»...

Но у него не хватало мужества; то она смеялась чересчур громко, то место было не подходящее; и он увлекал ее все глубже, словно убийца, обдумывающий куда и как нанести смертельный удар.

Он почти уже решился, как вдруг на повороте дороги появился и встревожил их местный лесник, Гошкорн, которого они изредка встречали. Бедняк, живший в маленькой казенной лесной сторожке на берегу пруда, потерял одного за другим двух детей, затем жену, от одной и той же злокачественной лихорадки. С первого же смертельного случая доктор

заявил, что в этом помещении нельзя жить так как оно слишком близко к воде и к её вредным испарениям; но несмотря на свидетельство, написанное врачом, правительство оставило его там еще на два, на три года, в течение которых умерли все члены его семьи, за исключением девочки, с которой он и переселился наконец в новое жилище у опушки леса.

Гошкорн, с упрямым лицом бретонца, со светлым и мужественным взглядом, с покатым лбом под форменной фуражкой, типичный представитель преданности и веры во все запреты, в одной руке держал ружье, а другой нес уснувшую девочку.

– Как её здоровье? – спросила Фанни, улыбаясь четырехлетней девчурке, побледневшей и похудевшей от лихорадки, которая проснулась и раскрыла большие глаза с красными веками. Сторож вздохнул:

– Да не хорошо... Вот беру ее всюду с собою... а она, тем не менее, перестала есть, ни на что не глядит. – Надо полагать, что переменили мы место через чур поздно, и что она уже заболела... Она так легка... попробуйте, сударыня, словно перышко... Боюсь, что скоро и она покинет меня, как остальные... Боже мой!..

Это, произнесенное шёпотом «Боже мой» и был весь его бунт против жестокости канцелярий и бумажных крючкотворцев.

– Она дрожит, как будто озябла.

– Это лихорадка, сударыня.

– Погодите, мы ее согреем... – Она взяла кружевную мантилью, висевшую у неё на руке, и закутала его малютку: – Да, да, оставьте так... Пусть эти кружева пойдут ей на свадьбу...

Отец горестно улыбнулся и, сжимая ручку малютки, которая снова заснула, белая под белыми кружевами, как маленький мертвец, пытался заставить ее поблагодарить барыню; затем удалился, твердя свое обычное «Боже мой, Боже мой», заглушаемое треском ветвей под его ногами.

У Фанни пропала веселость и она прижалась к нему с боязливой нежностью женщины, которую волнение, печаль или радость приближают к тому, кого она любит. Жан подумал: «Какая добрая душа»... Но не поколебался в своем решении, а напротив, утвердился в нем, ибо на склоне аллеи, в которую они входили, перед ним встал образ Ирены, воспоминание о её сияющей улыбке, пленившей его с первого раза, даже раньше, чем он узнал её глубокое очарование, внутренний источник её ума и кротости. Он вспомнил, что дождался последней минуты, что сегодня четверг... «Надо же наконец!» И, наметив на некотором расстоянии площадку, решил, что это последний предел. Полянка среди вырубленного

леса, деревья, лежавшие на земле, среди щепок, свежие обломки коры и связки хворосту, ямы для обжигания угля... Немного дальше виднелся пруд, над которым поднимался белый туман, а на берегу стоял маленький покинутый домик, с разбитыми окнами, с развалившейся крышей – больница бедных Гошкорнов. Дальше лес поднимался к Велизи, высокому холму, покрытому ржавыми кустарниками и унылым, густым лесом... Вдруг он остановился:

– Не отдохнуть ли нам здесь?

Они сели на длинный ствол дерева, сваленного на землю, ветви которого можно было сосчитать по числу ран, оставленных топором... Местечко было тихое, с бледным отсветом солнечных лучей; где-то пахло невидимыми фиалками.

– Как хорошо... – сказала она, разнеженная, облокотясь на его плечо и отыскивая местечко, чтобы поцеловать его в шею. Он немного отодвинулся и взял ее за руку. Тогда, видя внезапно изменившееся выражение его лица, она испугалась:

– Что такое? Что-нибудь случилось?

– Плохие вести, мой бедный друг... Эдуэн, помнишь тот, который поехал вместо меня... – Он говорил с трудом, хриплым голосом, звук которого изумил его самого, но который делался крепче к концу подготовленной заранее речи. – Эдуэн заболел, приехав на место, и начальство посылает Жана заменить его... – Он нашел, что легче солгать, чем поведать жестокую правду. Она дослушала его до конца, не прерывая, с лицом, покрывшимся смертельной бледностью, с остановившимся взглядом.

– Когда же ты уезжаешь? – спросила она, отнимая руку.

– Сегодня вечером... в ночь... – И фальшивым, жалобным тоном он прибавил: – Я рассчитываю провести сутки в Кастеле, затем сесть на пароход в Марселе...

– Довольно! Не лги! – крикнула она в порыве бешенства, вскочив на ноги; – Не лги, ты же знаешь... Дело в том, что ты женишься... Давно уже над этим старается твоя семья... Они так боятся, что я удержу тебя, что я помешаю тебе ехать на поиски тифа или желтой лихорадки... Наконец, они довольны... Барышня, надо надеяться, в твоём вкусе... И когда подумаешь, что я сама завязывала тебе галстук, в четверг!.. Боже! до чего я была глупа!

Она смеялась ужасным, болезненным смехом, кривившим её рот и показывавшим отсутствие одного зуба, которое он еще не видел, выпавшего, очевидно, недавно, одного из её чудесных перламутровых зубов, которыми она так гордилась; и этот выпавший зуб, и это лицо

землистого цвета, измученное, искаженное, причиняли Госсэну невыразимые страдания.

– Послушай, – сказал он, схватив ее и усаживая рядом с собою. – Ну, да, правда, я женюсь... Мой отец, ты знаешь, давно этого требовал; но что значит это для тебя, раз я все равно должен уехать?..

Она вырвалась, желая сохранить свой гнев:

– И чтобы объявить мне об этом ты заставил меня пройти целую версту по лесу... Ты сказал себе: «По крайней мере не будет слышно её криков»... Нет, видишь... ни крика, ни слез! Во первых, довольно с меня такого негодяя, как ты!.. Можешь идти, куда хочешь, я не буду тебя удерживать... Беги же, пожалуйста, на острова с твоей женой, с твоей крошкой, как говорят в твоей семье!.. Хороша, должно быть, эта крошка!.. Базобразна, обезьяна или вечно беременна!.. Ты ведь такой же простофиля, как и те, которые тебе ее выбрали!..

Она уже не владела собою, выкрикивая ругательства, оскорбления, до тех пор, пока, наконец могла прошептать только: «Подлец... лгун... подлец...» прямо в лицо и с вызывающим видом, как показывают кулак.

Настала очередь Жана выслушать все, не говоря ни слова, не делая никаких попыток остановить ее. Он предпочитал видеть ее такой низменной, кричащей, ругающеюся, настоящей дочерью дяди Леграна; так разлука будет менее жестока... Сознала ли и она это? Вдруг она умолкла, упала головой и грудью вперед на колени любовника, с рыданиями, сотрясавшими ее всю и перемежавшимися жалобами:

– Прости, пощади... Я люблю тебя, люблю тебя одного... У меня никого больше нет... Любовь моя, жизнь моя, не делай этого!.. Не покидай меня!.. Что со мною будет?

Его охватила жалость... Вот чего он больше всего боялся... Он заразился её слезами и откидывал назад голову, чтобы она не катились по его лицу, стараясь успокоить ее глупыми словами и повторяя все тот же аргумент:

– Но ведь я все равно должен уехать...

Она вскочила с воплем, в котором прорвалась её надежда:

– Ах, ты никуда не уехал бы! Я сказала бы тебе: подожди, я буду тебя любить еще... Неужели ты думаешь, что такую любовь, какую я люблю тебя, можно найти два раза в жизни?.. Ты так молод... Мне же недолго жить... Скоро я уже не буду в силах любить тебя, и тогда мы легко разойдемся.

Он хотел встать, он имел это мужество, и сказать ей, что все, что она делает, бесполезно; но цепляясь за него, тащась на коленях по грязи,

наполнявшей лощину, она принуждала его снова сесть и, стоя перед ним, дыханием губ, сладострастными взглядами и детскими ласками, глядя на его лицо, которое он отклонял, запуская руки в его волосы, пыталась зажечь остывший пепел их любви, напоминала ему шёпотом о прошлых наслаждениях, о пробуждениях без сил, о страстных объятиях в воскресные дни... Но все это было ничто, в сравнении с тем, что она обещала ему в будущем; она знает другие поцелуи, другие опьянения, она придумает их для него...

И пока она шептала ему эти слова, которые мужчины слышат лишь у дверей притонов, крупные слезы ручьями текли по её лицу, с выражением смертельного ужаса; она билась, кричала не своим голосом: О, пусть этого не будет... Скажи, что это неправда, что ты не хочешь меня покинуть... – И снова рыдания, крики о помощи, стоны, будто он стоял перед нею с ножом в руке...

Палач не был храбрее своей жертвы. Её гнева он больше не боялся, также как и её ласк, но он был беззащитен против её отчаяния, против этих криков, оглашавших лес и замиравших над мертвой зараженной лихорадкой водой, за которую заходило печальное, красное солнце... Он ожидал, что будет страдать, но не мог представить себе такой остроты страдания, и нужно было все ослепление новой любви, чтобы удержаться, не поднять ее с земли и не сказать ей: «Я остаюсь, молчи, я остаюсь...»

Сколько времени промучились они таким образом?.. Солнце превратилось уже в узкую полоску на западе; пруд принимал оттенки грифеля, и можно было подумать, что его нездоровые испарения охватывают и пустырь, и лес, и холмы. Из окутывающей их тени выступало только бледное лицо, поднятое к нему, открытый рот, звучащий бесконечной жалобой. Несколько позже, когда настала ночь, крики умолкли. Теперь полился поток слез, целый ливень, сменивший собою грохот бури, и время от времени вздох глубокий и глухой, словно пред чем то ужасным, что она от себя отгоняла, но что неотступно преследовало ее.

Затем вдруг все стихло. Кончено! Зверь умер... Поднимается холодный ветер, колеблет ветви, напоминая о позднем времени.

– Пойдем, встань.

Он тихонько поднимает ее, чувствует её покорность, её детское послушание, только тело её судорожно вздрагивает от глубоких вздохов. Кажется, будто она хранит страх и уважение к мужчине, выказавшему такую твердость. Она идет рядом с ним, его шагом, но робко не давая ему руки; и, видя их идущими так мрачно и пошатываясь по тропинке, находя дорогу лишь по желтым отблескам земли, можно был принять их за чету

крестьян, усталых, возвращающихся после долгой и утомительной работы.

На опушке виден свет, раскрытая в доме Гошкорна освещает четкие силуэты двух людей.

– Это вы, Госсэн? – раздается голос Эттэма, подходящего вместе со сторожем. Они начали уже беспокоиться, видя, что Жан и Фанни не возвращаются и слыша стоны, раздававшиеся по лесу. Гошкорн хотел уже взять ружье и отправиться на поиски...

– Добрый вечер, сударь; добрый вечер сударыня... А малютка-то уж как довольна своею шалью!.. Пришлось уложить ее в ней спать...

Их последнее общее дело, участие, проявленное недавно; их руки в последний раз обвинились вокруг этого маленького умирающего тельца.

– Прощайте, прощайте, дядя Гошкорн!

И все трое спешат к дому; Эттэма не перестает расспрашивать о воплях, раздававшихся в лесу.

– Они то усиливались, то ослабевали; можно было подумать, что душат какое-нибудь животное... Но неужели вы ничего не слышали?

Ни тот, ни другая не отвечают.

На углу «Pavè des gardes» Жан колебался.

– Останься пообедать, – тихо говорит она ему умоляющим голосом. Твой поезд ушел... Ты можешь поехать с девятичасовым?

Он идет домой вместе с ней. Чего бояться? Подобную сцену нельзя повторить два раза, и он смело может доставить ей это маленькое утешение.

В столовой тепло, лампа светит ярко, и, заслышав их шаги по дороге, служанка подает суп.

– Вот и вы, наконец!.. – говорит Олимпия, сидя за столом и подвязывая салфетку. Она снимает крышку с суповой миски и вдруг останавливается, вскрикнув:

– Боже мой, дорогая; что случилось?..

Осунувшаяся, постаревшая лет на десять, с красными распухшими веками, в платье выпачканном грязью, с растрепанными волосами, словно растерзанная уличная женщина, ускользнувшая от погони полиции – вот какова Фанни! Она вздыхает; её воспаленные глаза щурятся от света; мало-помалу тепло маленького домика и веселый накрытый стол возбуждают в ней воспоминания о счастливых днях и снова вызывает слезы, сквозь которые можно разобрать:

– Он бросает меня... Он женится!

Эттэма, его жена, крестьянка подающая обед, все взглядывают друг на друга, затем на Госсэна. – Тем не менее, будем есть, – говорит толстяк, гнев

которого если и не виден, то чувствуется; и стук проворных ложек сливается с журчаньем воды в соседней комнате, где Фанни умывается. Когда она возвращается, с синеватым налетом пудры на лице, в белом шерстяном пеньюаре, супруги Эттема тоскливо смотрят на нее, ожидая снова какого-нибудь взрыва, и удивлены тем, что она, не говоря ни слова, с жадностью набрасывается на кушанье, словно спасенный от кораблекрушения, и заглушает свое горе всем, что находит под рукою – хлебом, капустой, крылышком цесарки, яблоками. Она ест, ест без конца.

Беседа идет принужденно, затем более свободно, и так как с супругами Эттема можно говорить только о чем-нибудь очень плоском и материальном, о том например, как перекладывать молочные блинчики вареньем, и на чем лучше спать, на конском волосе или на пуху, то без особых затруднений доходят до кофе; супруги Эттема, сдабривают его леденцами, которые они сосут медленно, положив руки на стол.

Приятно видеть доверчивый и спокойный взгляд, которым обмениваются эти тяжеловесные товарищи по столу и ложу. У них нет желания бросит друг друга. Жан улавливает этот взгляд, и в уютной столовой, полной воспоминаний, привычек, связанных с каждым её уголком, его охватывает какая-то усталость, оцепенение. Фани, наблюдающая за ним, тихонько пододвинула к нему свой стул, прильнула к нему, взяла его под руку.

– Слушай, – говорит он вдруг. – Девять часов... Пора, прощай... Я тебе напишу.

Он уже на дворе, перешел дорогу, ищет впотьмах калитку; чьи то руки обвивают его: – Поцелуй же меня хоть еще раз...

Он охвачен её распахнутым пеньюаром, надетым прямо на нагое тело; он потрясен этим ароматом, этой теплотой женского тела, этим прощальным поцелуем, от которого у него остается на губах ощущение лихорадки и слез; а она шепчет, чувствуя его слабеющим: – Еще одну ночь, только одну...

Сигнальный гудок со стороны железнодорожного пути... Это поезд!..

Откуда явилась у него сила высвободиться и добежать до станции, огни которой светятся сквозь обнаженные ветви деревьев? Он сам изумляется этому, тяжело дыша и сидя в уголке вагона, поглядывая из окна на освещенные окна домика, на белую фигуру у забора... – Прощай, прощай!.. – Этот крик успокоил безмолвный ужас, охвативший его на повороте, когда он увидел любовницу, стоящую на том самом месте, где он не раз представлял ее себе мертвою.

Высунув голову, он видел, как уменьшался и словно бежал среди

неровностей земли их маленький домик, свет которого казался теперь маленькой, одинокой звездочкой. Вдруг он ощутил радость, огромное облегчение. Как легко дышится, как прекрасна Медонская долина и её огромные черные холмы, среди которых выделяется сверкающий треугольник бесчисленных огней, правильными нитями тянущихся к Сене. Ирена ждет его там, и он летит к ней со всею быстротой поезда, со всем пылом влюбленного, со всем порывом к честной и молодой жизни!..

Париж!.. Он взял извозчика и велел отвезти себя на Вандомскую площадь. Но при свете газа увидел, что одежда его и башмаки покрыты густою грязью, словно все его прошлое цепко и тяжело держится за него. «Ах, нет, не сегодня». И он входит в свою старую гостиницу на улице Жакоб, где дядя Фена нанял ему комнату, рядом со своей.

Глава 13

На другой день дядя Сезар, взявший на себя щекотливое поручение поехать в Шавиль за книгами и вещами племянника и закрепить разрыв переселением, вернулся поздно, когда Гоосэну стали уже приходиться в голову всевозможные безумные и мрачные мысли. Наконец, ломовая телега, неповоротливая, как похоронная колесница и нагруженная завязанными ящиками и огромным чемоданом обогнул улицу Жакоб и дядя вошел с таинственным и растроганным видом:

– Я долго провозился, чтобы забрать все сразу и не ехать туда снова... – Он указал на ящики, которые двое слуг вносили в комнату: – Здесь белье и одежда, там бумаги и книги... Не хватает только писем; она умоляла меня оставить их ей, чтобы перечитывать их и иметь что-нибудь от тебя... Я подумал, что в этом нет никакой опасности... Она такая добрая...

Он долго отдувался, сидя на чемодане и отирая лоб желтоватым шелковым платком, величиной в салфетку. Жан не смел спросить о подробностях, о том, в каком состоянии он ее застал; тот не рассказывал, боясь его опечалить. И они наполнили это тягостное молчание, замечаниями о погоде, резко изменившейся с вечера, и повернувшей к холоду, о жалобном виде этого уголка близ Парижа, пустынного и оголенного, с торчавшими заводскими трубами и огромными чугунными баками и резервуарами для рыночных торговцев. Затем Жан спросил:

– Она ничего не просила передать мне, дядя?

– Нет... Ты можешь быть спокоен... Она не будет надоедать тебе, она отнеслась к своей участи с большим достоинством и решимостью...

Почему Жан в этих немногих словах увидел как бы порицание, упрек его в излишней суровости?

– Какая, однако, мука! – продолжал дядя. – Я охотнее примирился бы с когтями Морна, нежели с отчаянием этой несчастной...

– Она много плакала?

– Ах, друг мой... И с такою добротой, с такою душою, что я сам зарыдал перед нею, не имея силы... – Он потрянул головою, как старая коза, словно прогоняя волнение: – Что же делать? Она не виновата... Но и ты не мог прожить с нею всю жизнь... Все устроилось очень прилично, ты оставил ей деньги, обстановку... А теперь, да здравствует любовь! Постарайся одарить нас скорее твоею свадьбой... Для меня, по крайней мере, дело это очень важное... Надо, чтобы тут помог и консул... Я же

гожусь только для ликвидации незаконных браков... – И внезапно охваченный приступом грусти, прислонясь лбом к стеклу и поглядывая на низкое небо, с которого дождь лил на крышу, он сказал:

– Жизнь становится ужасно печальной... В мое время люди и расходились веселее!

Дядя Фена уехал, купив свой элеватор, и Жан, лишенный его подвижного и болтливого добродушия, должен был провести целую неделю один, с ощущением пустоты и одиночества, со всей мрачной растерянностью вдовства. В подобных случаях, не говоря уже о любовной тоске, человек ищет себе подобного, чувствует его отсутствие; жизнь вдвоем, общность стола и ложа, создают такую ткань невидимых и тонких уз, прочность которой обнаруживается лишь при боли разрыва. Влияние взаимного общения и привычки так чудесно, что два существа, живущие вместе, доходят до того, что начинают даже по внешности походить друг на друга.

Пять лет жизни с Сафо не могли еще изменить его до такой степени; но тело его, хранило следы оков. Несколько раз, выходя из канцелярии, он невольно направлялся в сторону Шавиля, а по утрам ему случалось оглядываться и искать на подушке, рядом с собою, волну тяжелых, черных волос не сдерживаемых гребнем и рассыпавшихся по подушке, которые он привык целовать при пробуждении...

Особенно длинными казались ему вечера, в этой комнате отеля, напоминавшей ему первое время их связи, присутствие любовницы первых дней, молчаливой и деликатной, маленькая визитная карточка которой за зеркалом благоухала альковом и тайной: Фанни Легран... Тогда он уходил бродить, старался утомить себя, оглушить светом и шумом какого-нибудь маленького театра, вплоть до той минуты, когда старик Бушери разрешил ему проводить у невесты, что бывало три вечера в неделю.

Наконец-то они объяснились. Ирена любит его, дядя согласен; свадьба назначена на первые числа апреля, по окончании курса Бушери. Три зимних месяца на то, чтобы видаться, привыкнуть и желать друга другу, пройти весь очаровательный искус любви, начиная с первого взгляда, соединяющего души и с первого волнующего признания.

В тот вечер, когда состоялась помолвка, вернувшись домой и не имея ни малейшего желания спать, Жан захотел привести в порядок свою комнату и придать ей рабочий вид, в силу естественного инстинкта, влекущего нас к тому, чтобы установить связь между нашею жизнью и нашими мыслями. Он прибрал свой стол и свои книги, еще не развязанные, и набросанные на дне наспех сколоченного ящика, где своды законов

лежали между стопкой носовых платков и садовой фуфайкой. Вдруг из полураскрытого словаря торгового права, который он всего чаще перелистывал, выпало письмо без конверта, написанное рукой его любовницы.

Фанни вручила письмо обычному справочнику Жана, не доверяя кратковременному умилению Сезара, и думая, что таким образом письмо дойдет вернее. Сначала он не хотел его читать, но уступил первым словам, кратким и рассудительным, волнение которых чувствовалось лишь в дрожании пера и в неровных строчках. Она просила его только об одном, об одной милости – навещать ее хоть изредка. Она ничего не будет говорить, ни в чем не будет его упрекать, ни в женитьбе, ни в разлуке, которую она считает окончательной и бесповоротной. Лишь бы видеть его иногда!..

«Подумай; какой это для меня неожиданный и тяжкий удар... Я словно пережила смерть или пожар, не знаю за что приняться. Я плачу, жду, гляжу на место моего прежнего счастья. Только ты и можешь примирить меня с моим новым положением... Это милосердие; навещай меня хоть изредка, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Я боюсь самой себя...»

Эти жалобы, этот молящий крик пронизывали все письмо и повторялись вновь в тех же словах: «Приди, приди...» Он мог вообразить, что находится снова в лесу, на поляне, что Фанни лежит у его ног и он видит её жалкое лицо, окутанное лиловатым отблеском вечера, поднятое к нему, измученное и мокрое от слез, и её темный раскрытый рот, оглашающий воплями лес. Эта картина, а не счастливое опьянение, вынесенное им из дома Бушера, преследовала его всю ночь, смущая его сон. Он видел постаревшее, измятое лицо, несмотря на все усилия поставить между ним и собою юное личико с нежными чертами, с цветом лица напоминавшим нежную гвоздику, которое любовное признание окрашивало розоватым отсветом.

Письмо было написано неделю тому назад; семь дней несчастная ждала ответа или посещения, ждала поддержки в своей покорности. Но почему не написала она с тех пор вторично? Быть может, она больна? И его охватил прежний страх. Он подумал, что Эттэма мог бы дать о ней сведения, и, уверенный в неизменности его привычек, пошел поджидать его у двери Артиллерийского Комитета.

Пробило десять часов на башне святого Фомы Аквинского, когда толстяк вышел из-за угла маленькой площади, с поднятым воротником и с трубкой в зубах, которую держал обеими руками, чтобы согреть пальцы. Жан издали увидел его и его охватила целая волна воспоминаний; но

Эттэма встретил его крайне сухо.

– Вот и вы, наконец!.. Не знаю сколько раз проклинали мы вас на этой неделе!.. А мы-то поселились за городом чтобы наслаждаться покоем!..

Стоя у двери и докуривая трубку, он рассказал ему, что в предыдущее воскресенье они пригласили Фанни к себе обедать, вместе с мальчиком, чтобы немного отвлечь ее от её печальных мыслей. В самом деле, они пообедали довольно весело; за десертом она даже пела немного; в десять часов расстались, и они готовились ложиться, как вдруг раздался стук в ставни и испуганный голос маленького Жозефа, кричавшего:

– Бегите скорее, мама хочет отравиться!..

Эттэма бросился из дому, и прибежал как раз во время, чтобы вырвать у неё из рук пузырек с опиумом. Пришлось бороться с нею, схватив ее поперек тела, держать ее и защищаться от ударов, которыми она осыпала его лицо. Во время борьбы пузырек разбился, опиум разлился, и кончилось тем, что ядом были запятнаны и пропитаны только их платья.

– Но вы понимаете, что подобные сцены, подобные драмы, словно выхваченные из газетной хроники, для таких мирных людей... Теперь кончено! Я отказался от квартиры; в начале месяца мы переезжаем.

Он положил трубку в футляр и, мирно простившись, исчез под низкими сводами дворика, оставив Госсэна одного, потрясенного тем, что он услышал. Он представлял себе всю сцену в той комнате, которая была прежде их спальней, испуг мальчика, звавшего на помощь, грубую борьбу с толстяком, и почти ощущал вкус опиума, снотворную горечь разлитого яда. Страх не покидал его весь день, усиленный мыслью о её одиночестве. Эттэма уедут и кто тогда удержит её руку при новой попытке?..

Вскоре пришло письмо, которое несколько успокоило его. Фанни благодарила его за то, что он не так жесток, как хотел казаться, и что он интересуется еще несчастной покинутой: «Тебе рассказали, не правда ли?.. Я хотела умереть... потому что почувствовала себя слишком одинокой!.. Я пыталась, но не смогла: меня остановили, быть может у меня самой задрожала рука... боязнь страданий уродства... Ах, откуда взяла маленькая Дорэ, столько мужества?.. После первого стыда моей неудачи, я испытала огромную радость, думая, что смогу писать тебе, любить тебя хоть издали, видеть тебя; ибо я не теряю надежды, что ты придешь как-нибудь, как приходят к несчастному другу в дом, где царят скорбь и страдание из жалости, из одной только жалости»...

С тех пор, каждые два-три дня из Шавиля приходило письмо, неровное, то длинное, то короткое – дневник печали, которое он не имел мужества отослать обратно, и которое расширяло рану, в его сердце,

вызывая жалость без любви, не к любовнице, а просто к человеческому существу страдающему из-за него.

Настал день отъезда её соседей, свидетелей её прошлого счастья, увозивших с собой столько воспоминаний... Теперь хранителями этих воспоминаний оставались только мебель, стены маленького домика, да служанка, несчастное дикое существо, так же мало интересовавшееся окружающим, как иволга, зябнувшая от холодов и сидевшая, грустно взъерошив перышки, в углу клетки.

Однажды, когда бледный луч проник в окно она встала веселая с убеждением, что он придет сегодня!.. Почему? Так, просто, подумалось... Тотчас принялась она убирать дом, а сама нарядилась в праздничное платье и причесалась, как он любил; затем до вечера, до последнего луча света ждала поезда, сидя у окна столовой, прислушиваясь, не прозвучат ли его шаги на «*Ravè des Gardes*»... Можно же было дойти до такого безумия!

Иногда она писала всего одну строчку: «Идет дождь, темно... Я сижу одна и плачу о тебе...» Или ограничивалась тем, что клала в конверт цветок, весь сморщенный дождем и изморозью, последний цветок их садика. Красноречивее всех жалоб был этот цветок, сорванный из под снега и говоривший о зиме, об одиночестве, о заброшенности; он видел в конце аллеи между клумбами женскую юбку, всю промокшую и двигавшуюся взад и вперед в одинокой прогулке.

Эта жалость, сжимавшая ему сердце, заставляла его жить вместе с Фанни, несмотря на разрыв. Он думал о ней и ежечасно представлял ее себе; но, по старому недостатку памяти, хотя не прошло еще пяти-шести недель с минуты их разлуки и он еще ясно помнил все мельчайшие подробности их обстановки – даже клетку Балю против деревянной кукушки, выигранной им на деревенском празднике, и ветви орешника, бившей при малейшем ветре о стекла их уборной – сама Фанни представлялась ему как-то неясно. Он видел ее, словно окутанную туманом, с одной лишь подробностью её лица, резко подчеркнутой и мучительной – с перекошенным ртом и жалкою улыбкой, обнажавшею место выпавшего зуба.

Когда она состарится, что будет с несчастным созданием, с которым он так долго не расставался? Когда кончатся оставленные им деньги, куда она пойдет, на какое опустится дно? Вдруг в его памяти встала та несчастная женщина, которую он встретил однажды вечером в английской таверне и которая умирала от жажды над ломтем копченой лососины. В такую женщину превратится и та, чью страстную и верную любовь он принимал столько времени... Эта мысль приводила его в отчаяние... А между тем,

что делать? Если он имел несчастье встретить эту женщину и жить с ней некоторое время, неужели он из-за этого осужден на то, чтобы не расставаться с нею всю жизнь и принести ей в жертву все свое счастье? Почему он, а не кто-либо другой? Разве это справедливо?

Запрещая себе видеться с нею, он однако же писал ей; и его письма, намеренно положительные и сухие, под мудрыми и успокоительными советами выдавали его волнение. Он предлагал ей взять из школы Жозефа и заниматься с ним, чтобы рассеяться; но Фанни отказалась. К чему ставить ребенка лицом к лицу с её горем, с её отчаянием? Достаточно уже было воскресенья, когда мальчик скитался со стула на стул, из столовой в сад, угадывая, что в доме произошло несчастье и не смея спросить о «папе Жане», с тех пор как ему с рыданиями заявили, что он уехал и больше не вернется.

– Значит, все мои папаши уезжают!

Эти слова ребенка, помещенные в полном горечи письме, тяжело легли на душу Госсэна. Вскоре мысль о том, что Фанни продолжает жить в Шавиле, стала настолько угнетать его, что он посоветовал ей переехать в Париж, чтобы хоть кое с кем видеться. Имея печальный опыт с мужчинами и разрывами, Фанни в этом положении увидела лишь эгоистическую надежду избавиться от неё навсегда, и она высказала ему это чистосердечно в письме:

«Помнишь, что я тебе говорила?.. Что я останусь твоей женой, несмотря ни на что, твоей любящей и верной женой. Наш маленький домик напоминает мне об этом, и я ни за что в мире не хочу его покинуть... Что буду я делать в Париже? Я с отвращением думаю о моем прошлом, которое отдаляет тебя от меня; подумай, чему ты нас подвергаешь... Ты, по-видимому, очень уверен в себе? В таком случае, приезжай, злой человек... Приезжай, один раз, один только раз!»...

Он не поехал; но однажды в воскресенье днем, сидя в своей комнате за работой, он услышал, как в дверь его дважды постучали. Он вздрогнул, узнав её стук. Боясь встретить внизу отказ, она одним духом, взбежала наверх никого не спрашивая. Он подошел, заглушая звук шагов в мягком ковре и чувствуя сквозь дверь её дыхание:

– Жан, ты дома?..

Ах, этот покорный, разбитый голос!.. Еще раз, не громко: «Жан!..» Затем жалобный вздох, шелест письма, ласковое слово и прощальный поцелуй, обращенный к двери.

Когда она сошла с лестницы, медленно, словно ожидая, что ее вернут, Жан поднял и распечатал письмо. Утром хоронили маленькую Гошкорт в

приюте для больных детей. Она пришла вместе с её отцом и несколькими лицами из Шавиля, и не могла отказать себе в том, чтобы зайти к нему, увидеть его или хоть оставить ему эти написанные заранее строки: «...Я ведь тебе говорила!.. Если бы я жила в Париже, я бы только и делала, что поднималась и спускалась по твоей лестнице... До свидания, друг: я возвращаюсь в наш домик»...

Когда он читал, с глазами полными слез, он припоминал ту же сцену на улице Аркад, горечь любовника, которого она не приняла, просунутое под дверь письмо и бессердечный хохот Фанни. Значит, она любила его сильнее, чем он Ирену! Или же мужчина, более чем женщина вовлеченный в жизненную и деловую борьбу, не может отдаваться любви так исключительно, как она, забывая и делаясь равнодушным ко всему, что не есть его страсть, всепоглощающая и единственная?

Эти муки, эта острая жалость, которой он терзался, утихали только вблизи Ирены. Лишь здесь тоска выпускала его из своих когтей и таяла под кротким голубым лучом её взгляда. У него оставалась лишь огромная усталость и искушение прильнуть головой к её плечу, и сидеть так, не говоря ни слова, не двигаясь, под её защитой.

– Что с вами? – спрашивала девушка. – Разве вы не счастливы?

О, да, конечно, он счастлив! Но почему счастье его соткано из такой печали и такого моря слез? Минутами ему хотелось рассказать ей все, как умному и доброму другу; несчастный безумец не думал о тех волнениях, которые возбуждают подобные признания в совершенно нетронутых душах, о неисцелимых ранах, которые они могут нанести доверию и любви. Ах, если бы он мог увезти ее, бежать с ней! Он чувствовал, что только тогда настал бы конец его мучениям; но старик Бушери не хотел уступить ни одного часа из намеченного срока: «Я стар, болен... Я не увижу больше мою деточку; не лишайте меня этих последних дней...»

Под суровой внешностью ученого, это был добрейший человек. Безднадежно обреченный сердечной болезнью, за успехами которой он сам следил, он говорил о ней с изумительным хладнокровием, продолжал задыхаясь, читать лекции и выслушивал жалобы менее тяжело больных, чем он. У этого широкого ума была одна слабость, ярко свидетельствующая об его крестьянском происхождении: то было уважение к титулам, к происхождению. Воспоминание о башенках замка Кастеле и старинная фамилия Д'Арманди оказали свое влияние на легкость, с которой он согласился признать в Жане будущего мужа своей племянницы.

Свадьба состоится в Кастеле, что избавляло от необходимости приезда бедную мать, присылавшую еженедельно своей будущей невестке доброе

письмо, полное нежностей, продиктованное Дивонне или одной из маленьких «святых жен». Какою радостью было говорить с Иреной о родных, чувствовать себя на Вандомской площади как бы в Кастеле, – словно все его симпатии и привязанности сомкнулись вокруг его дорогой невесты!

Он боялся только того, что чувствует себя слишком старым, слишком усталым рядом с ней; видел, что она по-детски радуется таким вещам, которые его уже более не занимают, с наслаждением думает о жизни вдвоем, с которой он был уже хорошо знаком. Так, его неприятно волновало составление списка предметов которые они должны были взять с собой на новое место его службы, мебель, материи; составляя его, он остановился, и перо дрогнуло в его руке: он испугался этого нового устройства очага, уже знакомого ему по квартире на улице Амстердам, и неизбежным переживанием сызнава стольких радостей, уже старых, уже изжитых за эти пять лет совместной жизни с Фанни, в каком-то маскараде брака и хозяйства...

Глава 14

– Да, друг мой, умер сегодня ночью на руках у Розы... Я только что отнес его к набивателю чучел.

Поттер, которого Жан встретил при выходе из магазина на улице Бак, ухватился за него, чувствуя потребность излить свое горе, которое отнюдь не шло к его бесстрастным и жестким чертам делового человека, и поведал ему о страданиях злополучного Бичито, сраженного парижской зимой и околевавшего от холода, несмотря на обкладку ватой и на спиртовую горелку, уже два месяца горевшую под его маленькой конуркой – как согревают детей, родившихся раньше времени. Ничто не могло успокоить его дрожи, и в предыдущую ночь, когда они все стояли вокруг него, последний трепет пробежал по его телу от головы до хвоста, и он умер в мире, благодаря целым потокам святой воды, которые вылила мамаша Пилар на его пятнистую кожу, и которая, подняв глаза к небу, сказала: «да простит ему Бог!»

– Я смеюсь над этим; но тем не менее у меня тяжело на душе; особенно когда я думаю о страданиях несчастной Розы, которую я оставил в слезах... К счастью, Фанни с нею...

– Фанни?..

– Да, мы давно уже ее не видели... Она пришла сегодня утром как раз в разгар трагедии, и эта добрая душа осталась утешать подругу. – Он прибавил, не замечая впечатления, произведенного его словами: – Итак, у вас все кончено? Вы разошлись? Помните ли вы наш разговор на Ангиенском озере? По крайней мере, вы извлекаете пользу из советов, которые вам дают...

И он не без некоторой зависти выразил свое одобрение.

Госсэн, нахмурившись, испытывал истинное горе при мысли о том, что Фанни вернулась к Розарио; но он сердился на себя за эту слабость, не имея, после всего случившегося, ни прав на её жизнь, ни ответственности за неё.

Перед одним из домов на улице Бон, старинной улице древнего аристократического Парижа, на которую они только что вступили, Поттер остановился. Здесь он жил, или, по крайней мере, считалось, что живет, ибо в действительности время его проходило на улице Виллье или в Ангиене, и он лишь изредка являлся домой, чтобы жена его и ребенок не казались совсем покинутыми.

Жан шел с ним рядом, мысленно прощаясь с ним, но тот вдруг задержал его руку в своих жестких и сильных руках пианиста и без малейшего затруднения, как человек, которого уже не смущает его порок, сказал:

– Окажите мне, пожалуйста, услугу; поднимитесь со мной в квартиру. Я должен обедать у жены, но не могу оставить бедную Розу одну в её отчаянии... Вы послужите предлогом для моего ухода и избавите меня от неприятного объяснения.

Кабинет музыканта, в великолепной и холодной буржуазной квартире бельэтажа, носил отпечаток комнаты, в которой никогда не работают. Все было слишком чисто, без малейшего беспорядка, и не носило следов той лихорадочной деятельности, которая распространяется на предметы и мебель. Ни одной книги, ни одного листочка на столе, на котором красовалась огромная бронзовая чернильница, сухая и блестящая, словно на выставке; ни одной партитуры на старом рояле, в форме шпинета, вдохновлявшем его первые произведения. Бюст из белого мрамора, бюст женщины с изящными чертами, с выражением нежности, бледный в полусвете сумерек, придавал еще более холодный вид задрапированному камину без огня, и, казалось, грустно глядел на стены, увешанные золочеными венками, украшенными лентами, медалями, памятные жетоны всем этим хламом славы и тщеславия, великодушно оставленным жене взамен себя и который она поддерживала, словно украшения на могиле своего счастья.

Едва они вошли, как дверь кабинета отворилась и появилась госпожа Поттер.

– Это ты Гюстав?

Она думала, что муж один, и перед незнакомым лицом остановилась в явной тревоге. Изысканная, красивая, изысканно и со вкусом одетая, она казалась красивее своего изображения, кроткое выражение которого заменилось у неё теперь нервной и мужественной решимостью. Мнения относительно характера этой женщины в свете разделялись. Одни порицали ее за то, что она переносит явное презрение мужа, так как связь его на стороне была всем известна; другие, наоборот, восхищались её молчаливой покорностью, и общественное мнение считало ее за спокойную особу, любящую больше всего свой покой и удовлетворяющуюся в своем вдовстве ласками красивого ребенка и честью носить имя великого человека.

Но, пока композитор представлял своего товарища и придумывал какую-то ложь, чтобы избежать семейного обеда, по еле заметному трепету

молодого женского лица, по грустному и пристальному взгляду, который ничего не видел, словно всецело поглощенный страданием, Жан мог угадать, что под светской внешностью заживо похоронена огромная скорбь. Она, казалось, приняла историю, которой, конечно, не верила, и ограничилась тем что лишь сказала кротко:

– Раймонд будет плакать; я обещала ему, что мы пообедаем у его постели.

– Как его здоровье? – спросил Поттер, рассеянный, нетерпеливый.

– Лучше; но он все еще кашляет... Тебе не хочется взглянуть на него?

Он пробормотал несколько слов, которые трудно было разобрать, делая вид, что ищет чего то в комнате: – Не теперь... Очень тороплюсь. Свидание в клубе ровно в шесть часов... – Больше всего избегал он остаться с нею наедине.

– В таком случае, до свидания, – сказала молодая женщина, внезапно стихшая, и лицо её сомкнулось как гладь озера над брошенным в него камнем. Поклонилась и ушла.

– Бежим!..

Поттер увлек за собой Госсэна, смотревшего как перед ним сходил по лестнице, прямой и корректный в своем длинном пальто английского покроя, этот мрачный влюбленный, так волновавшийся, когда заказывал чучело хамелеона для своей любовницы, и уходивший теперь даже не простясь со своим больным ребенком.

– Все это, друг мой, – сказал музыкант, словно в ответ на мысль своего приятеля, – все это ошибка тех, которые меня женили. Истую услугу оказали они мне и этой бедной женщине!.. Что за безумие желать сделать из меня мужа и отца!.. Я был любовником Розы, остался им и останусь до тех пор, пока кто-нибудь из нас не подохнет... От порока, захватившего вас в удобную минуту и крепко держащего вас, разве можно кого-нибудь избавиться?.. А вы сами уверены ли, что если бы Фанни захотела...

Он окликнул проезжавшего мимо извозчика, и, садясь, сказал:

– Кстати о Фанни; знаете ли вы новость? Фламан помилован, вышел из Мазасской тюрьмы... Это результат прощения Дешелетта... Бедный Дешелетт! И после смерти сделал добро.

Не двигаясь, но с безумным стремлением бежать, догнать эти колеса, катившиеся быстро по темной улице, на которой только что загорался газ, Госсэн удивлялся своему волнению. «Фламан помилован!.. вышел из тюрьмы!».. повторял он про себя, угадывая в этих словах причину молчания Фанни за последние дни, её жалобы, внезапно стихшие под ласками утешителя; ибо первая мысль освобожденного была устремлена

конечно к ней.

Он припомнил любовные письма, помеченные тюрьмой, упорство, с которым Фанни защищала этого человека, тогда как она совсем не дорожила остальными своими бывшими любовниками; и, вместо того, чтобы поздравить себя с обстоятельством, которое так легко освобождало его от всякой тревоги, от всяких угрызений совести, какая-то смутная тоска не дала ему спать большую часть ночи. Почему? Он ее не любит; он думает только о своих письмах, оставшихся в руках этой женщины: быть может, она станет читать их тому, другому... Быть может (кто поручится?) под влиянием злобы воспользуется ими когда-нибудь, чтобы смутить его покой, его счастье...

Действительное ли? Выдуманное ли? Или это был лишь предлог? Как бы то ни было, а это опасение о письмах заставило его решиться на неосторожный шаг – на посещение Шавиля, от которого он последнее время упорно отказывался. Но кому поручить столь интимное и деликатное дело? В одно февральское утро он выехал с десятичасовым поездом, совершенно покойный умом и сердцем, с единственной боязнью найти дом закрытым и женщину уже исчезнувшей вслед за своим бандитом.

Но с поворота дороги его успокоили отворенные ставни и занавески на окнах домика; припоминая волнение, с которым он смотрел, как за ним бежал маленький огонек, он смеялся над самим собой и над хрупкостью своих впечатлений. Разумеется, он уже не тот человек, который проходил там, и, конечно, не найдет уже и той женщины. А меж тем с той поры прошло всего два месяца! Леса, вдоль которых мчался поезд, еще не оделись в новую листву, а стояли все такие же голые, и ржавые как и в день их разрыва, когда плач разносился по лесу.

Он один вышел на станции, и дрожа от холодного тумана, пошел по узенькой тропинке, обмерзшей и скользкой, прошел под аркой железной дороги, не встретил никого до «Pavè Les Gardes», на повороте которой увидел мужчину и ребенка, везшего в сопровождении станционного служащего, тачку нагруженную чемоданами.

Ребенок, закутанный в шарф с надвинутой на уши фуражкой, сдержал восклицание, проходя мимо него. «Да это Жозеф!» подумал Жан, изумленный и опечаленный неблагодарностью малютки; и, обернувшись, он встретил взгляд человека, державшего ребенка за руку. Умное, тонкое лицо, побледневшее от долгого заточения, готовое платье, купленное накануне, белокурая бородка, не успевшая отрасти со времени выхода из тюрьмы... Да это Фламан, чёрт побери! Жозеф – его сын?..

Он мигом припомнил и понял все, начиная с письма, хранившегося в

ящичке, в котором красавец-гравер поручал любовнице своего ребенка, жившего в деревне, вплоть до таинственного прибытия малютки, и смущенное лицо Эттэма, когда Жан заговорил об этом приеме, и взгляды, которыми обменивались Фанни и Олимпия; ибо все они были в заговоре, с целью заставить его кормить сына этого преступника. Ах как он глуп, и как они должно быть, смеялись над ним!.. Он почувствовал отвращение при мысли об этом постыдном прошлом и желание бежать отсюда, как можно дальше; но его смущали разные вещи, которые ему хотелось узнать. Мужчина с ребенком уехал; почему же не уехала Фанни? А затем письма... Ему нужны письма, он ничего не должен оставлять в этом злополучном и грязном месте!

– Сударыня... Барин приехал!..

– Какой барин? – наивно спросил женский голос из глубины комнаты.

– Я!..

Раздался крик, прыжок, затем: – Подожди, я сейчас встану... иду!..

Еще в постели, несмотря на то, что больше двенадцати часов! Жан не сомневался относительно причины; он знал, после чего люди просыпаются усталыми и разбитыми! И, пока он ожидал ее в столовой, полной знакомых предметов, и звуков, со свистками отходящего поезда, с дрожащим бляньем козы в соседнем саду, с разбросанными приборами на столе, все переносило его к некогда пережитым им утренним часам, к своему легкому завтраку перед отъездом.

Фанни вошла и бросилась к нему. Затем остановилась, почувствовав его холодность, и оба стояли изумленные, колеблющиеся, как люди встречающиеся после разорванной близости, по разные стороны сломанного моста, а между собою видят огромное пространство катящихся и все пожирающих волн.

– Здравствуй... – сказала она тихо, не двигаясь. Она нашла его изменившимся, побледневшим.

Он удивлялся тому, что видит ее молодой, лишь немного пополнившейся, ниже ростом чем он ее себе представлял, но озаренной тем особым сиянием, тем блеском кожи и глаз, тою нежностью, которую всегда оставляли в ней ночи, отданные страстным ласкам. Итак та, воспоминания о которой не давало ему покоя, осталась в лесу, в глубине рва, засыпанного сухими листьями.

– В деревне, однако, встают поздно... – сказал он с оттенком иронии.

Она извинилась, сослалась на мигрень и, подобно ему, говорила в безличных выражениях, не смея обратиться к нему ни на «ты», ни на «вы»; затем в ответ на немой вопрос, относившийся к остаткам завтрака, сказала:

«Это мальчик... он завтракал сегодня утром перед отъездом»...

– Перед отъездом?.. куда же?

Губы его выражали полное равнодушие, но блеск глаз выдавал его. Фанни ответила.

– Отец на свободе... Он пришел и взял его...

– Он вышел из Мазасской тюрьмы, не так ли?

Она вздрогнула, не хотела лгать.

– Ну, да... Я ему обещала, и исполнила свое обещание... Сколько раз у меня являлось желание оказать тебе все, но я не осмеливалась, боялась, что ты отошлешь назад несчастного малютку... – И застенчиво прибавила: – Ты так ревновал тогда...

Он презрительно расхохотался. Ревновал! Он! К этому каторжнику!.. Полно, пожалуйста!.. И, чувствуя, как его охватывает гнев, он оборвал разговор и с живостью сказал зачем приехал. Его письма!.. Почему не передала она их дяде Сезару? Это избавило бы обоих от мучительного свидания.

– Правда, – сказала она по-прежнему с кротостью; – но я их тебе сейчас отдам, они здесь...

Он пошел за нею в спальню, увидел неубранную, лишь наскоро прикрытую постель, с двумя подушками, вдохнул запах папирос вместе с ароматом духов, которые узнал, равно как и маленький перламутровый ящичек, стоявший на столе. Одна и та же мысль пришла в голову обоим: – Он не тяжел, – сказала она, открывая ящик... – жечь было бы нечего...

Он молчал, взволнованный, с пересохшим горлом, не желая приблизиться к этой неубранной постели, близ которой она в последний раз, перелистывала письма, наклонив голову, с крепкой, белой шеей, под каскадом поднятых волнистых волос, и в широком шерстяном пеньюаре, свободно охватывавшем её пополневший, мягкий стан.

– Вот они!.. Все тут!

Взяв пакет и положив его в карман, так как опасения его изменились, Жан спросил:

– Итак он увозит ребенка... Куда же они едут?

– В Морван, на родину, чтобы жить там, скрываясь, и работать над гравюрой, которую он пошлет в Париж под вымышленным именем.

– А ты? Разве ты думаешь остаться здесь?..

Она отвела глаза, чтобы не встретиться с его взглядом, бормоча, что это было бы чересчур печально. Поэтому она думает... быть может она поедет в небольшое путешествие...

– В Морван, конечно?.. В семью!.. – И, давая волю своей ревнивой

ялости, он прибавил: – Признавайся тотчас, что ты поедешь за твоим вором, что вы будете жить вместе... Ты давно уже к этому стремишься... Пора! Вернись в твой хлев!.. Доступная женщина и фальшивый монетчик, это идет друг к другу! Я был слишком добр, желая вытащить тебя из этой грязи!

Она хранила спокойствие, а из под опущенных ресниц сверкал огонек победы. И чем более он хлестал ее свирепой и оскорбительной иронией, тем более она казалась гордой, тем более дрожали концы её губ. Теперь он говорил о своем счастье, о своей молодой, честной любви, о любви единственной. Ах, сердце честной женщины – сладкий приют!.. Затем вдруг, понизив голос, словно стыдясь, спросил:

– Я только что встретил твоего Фламана; он ночевал у тебя?

– Да, вчера было поздно, шел снег... Ему постлали на диване.

– Ты лжешь! Он спал здесь... Стоит только взглянуть на постель и на тебя!

– Ну так что ж? – она приблизила к нему лицо, и в её серых больших глазах сверкнуло пламя распутства. – Разве я знала, что ты придешь?.. И, лишившись тебя, что мне было до всего остального? Я была печальна, одинока, все было мне противно...

– И вдруг каторжный!.. После того, как ты жила с честным человеком... Это показалось тебе приятным, да?.. Воображаю, какими ласками вы осыпали друг друга?.. Ах, какая грязь!.. Вот тебе!..

Она видела готовящийся удар, но не пыталась защищаться и получила его прямо в лицо; затем с глухим рычаньем боли и торжества, бросилась к нему и охватила его обеими руками: – Дружок! Дружок!.. Ты меня все еще любишь!.. – И оба покатались на постель.

К вечеру его разбудил грохот проходившего мимо скорого поезда; открыв глаза, он несколько минут не мог прийти в себя, лежа одиноко на широкой постели, где его члены, словно утомленные чрезмерным переходом, казалось лежали рядом, не будучи связаны друг с другом. За день выпало много снега. В тишине безлюдной местности слышно было как он таял и струился по стенам, вдоль стекол, капал с желоба крыши и время от времени забрызгивал грязью и водою горевший в камине кокс.

Где он? Что делает он здесь? Мало-помалу благодаря фонарю светившему из садика, он увидел всю комнату и портрет Фанни, висевший против него; к нему вернулось воспоминание о его падении, ничуть его однако не изумившее. Как только он вошел сюда, при первом взгляде на эту кровать, он почувствовал, что он побежден снова, что он погиб; эти простыни влекли его словно в пропасть, и он подумал: «Если я паду, то на

этот раз уже безвозвратно, навсегда». Так и случилось. С грустным сознанием своей низости, он все же испытывал некоторое утешение при мысли, что он уже не поднимется из этой грязи, ощущал жалкое чувство раненого, который, истекая кровью, кое как дотащился до кучи навозу, чтобы умереть на ней, и устав от страданий и борьбы, блаженно погружается в мягкую, жидкую теплоту.

То, что ему теперь предстояло, было ужасно, но просто. Вернуться к Ирине после этой измены и рискнуть устроить жизнь по примеру Поттера?.. Как низко он ни пал, до этого, однако, он еще не дошел!.. Он собирался написать Бушери, великому физиологу, первому изучившему и описавшему болезни воли и рассказать ему этот ужасный случай, всю историю своей жизни, начиная с первой встречи с этой женщиной, когда она положила свою руку на его руку, и до того дня, когда он считал себя же спасенным, преисполненным счастья и опьянения, а она снова захватила его чарами прошлого – этого ужасного прошлого, где любовь занимала так мало места, а были только подлая привычка и порок, вошедший в плоть и кровь...

Дверь отворилась. Фанни тихонько шла по комнате, чтобы не разбудить его. Чуть приподняв веки, он глядел на нее, легкую и сильную, помолодевшую, гревшую у огня ноги, намокшие в снегу; время от времени она оборачивалась к нему с той улыбкой, которой улыбалась утром, во время их ссоры. Она подошла, взяла с привычного места пачку мэрилэндского табаку, свернула папироску и хотела отойти, но он ее удержал.

– Ты разве не спишь?

– Нет... Сядь сюда... Поговорим.

Она присела на край кровати, несколько удивленная его серьезным тоном.

– Фанни!.. Мы уедем отсюда...

Сначала она подумала, что он шутит, желая испытать ее. Но подробности, которые он привел, тотчас разубедили ее. В Арике был свободный пост; он выхлопочет его для себя. Это дело всего двух недель, срок, в который едва успеешь уложиться.

– А твоя женитьба?

– Ни слова о ней!.. То, что я сделал, непоправимо... Я вижу, что все кончено, что я не могу расстаться с тобой.

– Бедный мальчик! – сказала она с грустной и несколько презрительной нежностью. Потом, затянувшись два-три раза, спросила:

– А далеко та страна, о которой ты говоришь?

– Арика?.. Очень далеко, в Перу... – и тихо прибавил: – Фламан не сможет поехать туда за тобой...

Она сидела задумчивая, замкнутая и таинственная, окруженная облаками табачного дыма. Он продолжал держать ее за руку, гладил ее по обнаженному плечу, и, убаюкиваемый каплями воды, падавшими с крыши маленького домика, закрыл глаза, тихо погружаясь в тину...

Глава 15

Нервно настроенный, нетерпеливый, мысленно уже уехавший, как всякий, кто готовится к отъезду, Госсен жил уже два дня в Марселе, где Фанни должна была присоединиться к нему и сесть вместе с ним на пароход. Все было готово, билеты были куплены – две каюты первого класса для вице-консула Арики, едущего со своей невестой; и вот он расхаживает взад и вперед по выцветшему полу комнаты в гостинице, лихорадочно ожидая свою любовницу и минуту отплытия.

Приходится сидеть и волноваться взаперти, так как он не решается выйти. Улица страшит его, как преступника, как дезертира, – марсельская улица, шумная, кишачая народом где на каждом повороте ему кажется, что вот-вот появится старик Бушери, положит ему на плечо руку, схватит и поведет его назад.

Он запирается и даже обедает в комнате, не сходя к общему столу, читает, ничего не видя, бросается на кровать и пробует сократить часы ожидания разглядыванием «Кораблекрушения Лаперуза» и «Смерти капитана Кука», висящих на стене и засиженных мухами; целыми часами простаивает он, облокотясь на балконе из гнилого дерева, защищенный желтой шторой, на которой столько заплат, сколько на парусе рыбацкой лодки.

Его гостиница – «Гостиница Молодого Анахарсиса», название которой, случайно попавшееся ему в справочной книге, соблазнило его, когда он договаривался о свидании с Фанни; это старый трактир, отнюдь не роскошный и даже не очень опрятный, но выходящий в гавань, прямо на море. Под его окнами попугаи, какаду, птицы привезенные из колоний, сладко и без конца поющие – целая выставка на открытом воздухе, целый птичник, клетки которого, поставленные друг на друга, приветствуют занимающийся день звуками, свойственными лишь девственному лесу; но звуки эти, по мере того как надвигается день, заглушаются шумом работ в гавани, прерываемых колоколом Notre-Dame de la Garde.

В воздухе стоит непрерывный гул ругательств на разных языках, раздаются крики лодочников, носильщиков, продавцов раковин, удары молота в доках, скрип кранов, звучный грохот повозок на мостовой, звон колоколов, плеск откачиваемой из трюмов воды, шипение выпускаемых паров, и все эти звуки еще отражаются и усиливаются соседством гладкой морской поверхности, над которой время от времени разносится хриплый

рев, дыхание морского чудовища – большого трансатлантического парохода, отплывающего в открытое море.

Запахи также возбуждают воспоминание о далеких странах, о набережных, еще ярче залитых солнцем, еще более жарких, чем эта; сандал, кампешевое дерево, выгружаемое здесь, лимоны, апельсины, фисташки, бобы, острый запах которых поднимается вместе с вихрем экзотической пыли в воздух, насыщенный вкусом соленой воды, горелой травы и жирного чада, несущегося из кухмистерских.

К вечеру звуки утихают, запахи рассеиваются в воздухе и исчезают: Жан, успокоенный наступающей темнотой, подняв штору, смотрит на уснувший черный порт, над которым перекрещиваются мачты, реи, бушприты, а тишина прерывается лишь плеском весел и далеким лаем собаки на берегу; в открытом море маяк Планье бросает попеременно длинную полосу света, то белую, то красную; она разрезывает мрак, и, словно в трепете молнии, заставляет выступать контуры островов, форта и скал. Этот светящийся взгляд, направляющий тысячи жизней на горизонте, снова приглашает и манит его в путь, зовет его воем ветра, зыбью волн в море и хриплым криком парохода, пыхтящим где-то на рейде.

Надо ждать еще двадцать четыре часа; Фанни должна приехать лишь в воскресенье. Эти три дня, которыми он опередил ее, он должен был провести у родных, предполагая все это время отдать любимым людям, которых он не увидит, быть может, много лет, которых, быть может, при возвращении не застанет уже в живых; но едва приехал он в Кастеле, едва отец узнал, что женитьба его расстроилась и догадался о причине, между ними произошло бурное объяснение.

Что же мы такое, что такое наши самые нежные, самые задушевные чувства, если гнев, разразившись между двумя людьми одной крови и одной плоти, вырывает и уносит любовь, чувство с такими глубокими и крепкими корнями, уносит, со слепой яростью китайского урагана, о котором самые суровые моряки не решаются вспоминать и только говорят, бледнея: «Не надо об этом говорить»...

Он никогда не будет говорить об этом, но зато и никогда не забудет этой ужасной сцены на террасе Кастеле, где протекло его счастливое детство, в виду великолепного, спокойного горизонта, сосен, миртовых деревьев, кипарисов, недвижно и с трепетом сомкнувшихся вокруг отцовского проклятия. Вечно будет он видеть высокого старика, с судорожно подергивающимся лицом, наступающего на него, со взглядом полным ненависти, изрекающего слова, которым нет прощения, выгоняющего его из дому, лишаящего его своего благословения: «Уходи,

уезжай с твоей негодяйкой; ты умер для нас навсегда»!.. А маленькие сестрицы кричали, плакали, валялись на ступенях крыльца, прося прощения за старшего брата; Дивонна была лишь смертельно бледна; она не бросила в его сторону ни одного взгляда, не простилась с ним, меж тем, как наверху, за окном, кроткое и тревожное лицо больной спрашивало, из-за чего поднялся весь этот шум и почему Жан так быстро уезжает, даже не поцеловав ее.

Мысль о том, что он не простился с матерью, заставила его вернуться с полдороги к Авиньону; оставив Сезара с повозкой внизу, он пошел по тропинке и проник в Кастеле через виноградник, как вор. Ночь была темная; его шаги скрадывались сухими виноградными листьями, но он заблудился, отыскивая в потемках дом, ставший уже для него чужим. Входная дверь была заперта, в окнах было темно. Позвонить? Позвать? Он не посмел, побоялся отца. Два или три раза обошел он вокруг дома, надеясь найти где-нибудь не запертый ставень. Но фонарь Дивонны, как видно, прошел повсюду, по обычаю каждого вечера; бросив долгий взгляд на комнату матери, мысленно простившись от всего сердца со своим детским домом, который тоже оттолкнул его, он убежал, упрекая себя, и мучась угрызениями совести.

Обычно перед долгой разлукой, перед переездами, полными всяких опасностей и случайностей, в виде моря и бурь, родные и друзья растягивают прощанье до последней минуты, когда отъезжающий садится на пароход; последний день проводят вместе, посещают пароход и каюту отъезжающего, чтобы лучше представить себе весь его путь. Несколько раз в день Жан видит из гостиницы эти дружеские проводы, порою многолюдные и шумные; но особенно умиляет его одно семейство, живущее этажом выше. Старик и старуха, деревенские жители, живые, он в суконном сюртуке, она в платье из желтого полотна, приехали проводить сына: они не расстаются с ним до самого отплытия парохода; сидя у окна, в безделье ожидания, все трое держат друг друга за руки, тесно прижавшись один к другому. Они не говорят, а только сидят обнявшись.

Жан, глядя на них, думает, каким веселым мог бы быть его отъезд!.. Отец, маленькие сестренки, а рядом с ним, опираясь на него легкой трепещущей рукой, та, чей живой ум и жаждущая приключений душа уносились вслед каждому судну, уходящему в открытое море... Бесплодные сожаления! Преступление совершено, чудеса поставлена на карту, остается только уехать и забыть...

Как долго, какую пыткой тянулись для него часы последней ночи! Он ворочался на постели, ждал рассвета, следя за тем, как мрак окна

окрашивался серым, постепенно белевшим светом зари, на фоне которой горела еще красная искра маяка, потускневшая, когда встало солнце.

Только тогда он заснул, но был разбужен лучом ворвавшимся в комнату, вместе с криком продавца птиц и звоном бесчисленных воскресных колоколов Марселя, разносившихся по широким набережным, у которых словно отдыхали суда с флагами на мачтах...

Уже десять часов! А скорый поезд из Парижа приходит в двенадцать! Он быстро одевается, чтобы идти встречать любовницу; они позавтракают на берегу моря, затем снесут вещи на пароход, а в пять часов – сигнал к отплытию.

Чудесный день: по глубокому небу белыми пятнами проносятся чайки; темно-синее море; на горизонте мелькают, отражаясь в воде паруса, клубы дыма, словно естественная песнь этих солнечных берегов с таким прозрачным воздухом и водой; под окнами гостиниц звучат арфы, раздаются божественно-легкая итальянская мелодия, каждый звук которой глубоко волнует душу. Это более чем музыка, это окрыленное выражение блеска и радости юга, полноты жизни и любви, поднятых до слез. И воспоминание об Ирене, трепещущее и рыдающее, слышится в чудной мелодии. Как это далеко!.. Какая чудная, утраченная страна, какое бесконечное сожаление о разбитом, о непоправимом!..

Мимо!

Выходя из гостиницы Жан встречает на пороге мальчика: Письмо для господина консула... Его подали сегодня утром, но господин консул изволил спать. Знатные путешественники редко останавливаются в гостинице «Молодого Анахарсиса»; поэтому марсельцы особенно рады подчеркивать титул своего постояльца... Кто может писать ему? Никто не знает его адреса, кроме Фанни... И, взглянув пристальнее на конверт, он содрогается от страха... он понял!

«Нет! я не еду; это было бы такое большое безумие, на которое у меня не хватает сил. Для подобных переворотов, мой бедный друг, нужна молодость, которой у меня нет, или ослепление безумной страсти, которой не хватает нам обоим. Пять лет тому назад, в наши лучшие дни, одного знака с твоей стороны было бы достаточно для того, чтобы я последовала за тобой хоть на край света, ибо ты не можешь отрицать того, что я тебя страстно любила. Я отдала тебе все, что имела; а когда нам надо было расстаться, я страдала так, как не страдала никогда, ни ради кого на земле! Но подобная любовь, уносит много сил... Чувствовать, что ты молод, красив, вечно дрожать, бояться за свое счастье... теперь я уже больше не могу, ты заставил меня жить чересчур напряженно, заставил слишком

много страдать: я – конченный человек.»

«При этих обстоятельствах перспектива далекого путешествия и коренной перемены жизни страшит меня. Я не так обожаю двигаться, и как ты знаешь никогда не ездила дальше Сен-Жермена! К тому же, женщины слишком скоро стареют на юге, и тебе еще не будет тридцати лет, как я уже буду желтой и старой, как мадам Пилар; тогда ты озлобишься на меня за принесенную тобой жертву, и несчастная Фанни должна будет расплачиваться за все и за всех. Послушай, есть страна на востоке, – я читала о ней в одной из книжек „Вокруг Света“ – где, если женщина обманет мужа, то ее зашивают вместе с кошкой в свежую звериную шкуру, и бросают на морском берегу этот ком, прыгающий и ревуший под жгучим солнцем. Женщина вопит, кошка царапается, обе пожирают друг друга, меж тем как шкура съеживается, тесно охватывая эту ужасную борьбу пленных, до последнего хрипа, до их последнего содрогания. Нечто вроде этой пытки ожидало бы нас, если бы мы поехали вместе»...

Он остановился на минуту, раздавленный уничтоженный. Покуда хватал глаз, сверкала синева моря «Addio!» пели арфы, с которыми сливался горячий, страстный голос... «Addio!» И пустота его разбитой жизни, в осколках и в слезах, вдруг встала перед ним, словно опустошенное поле с убранной жатвой, на которую уже нет больше надежд, как нет надежд и на эту женщину, ускользнувшую от него...

«Я должна была сказать тебе это раньше, но не осмелилась, видя тебя таким радостным, решившимся. Твое возбуждение сообщалось и мне; тут было и женское тщеславие, естественная гордость тем, что я завоевала тебя вновь после разрыва. Только в глубине души я чувствовала, что это было не то, что то кончилось, сломалось. И неудивительно, после таких потрясений!.. Не воображай, что я принимаю это решение из-за несчастного Фламана. Для него, как и для тебя, как и для всех – кончено, сердце мое умерло; но остался ребенок, без которого я не могу жить и который снова приводит меня к отцу, к несчастному человеку, погубившему себя из-за любви ко мне и вышедшему из тюрьмы таким же любящим и нежным, как при нашей первой встрече. Представь себе, что когда мы увиделись, он всю ночь проплакал на моем плече; из этого ты можешь видеть, что тебе нечего было горячиться...»

«Я сказала тебе, дорогой мой, что я слишком любила, что я надломлена. Теперь мне нужно, чтобы меня любили, чтобы меня ласкали, чтобы восхищались мной и успокаивали меня. Этот человек будет всегда стоять передо мною на коленях; он никогда не заметит на моем лице морщин, ни седины в моих волосах; и если он на мне женится, как

намеревается, то это я оказываю ему милость. Сравни же... И главное, не делай глупостей. Я приняла все предосторожности, чтобы ты не мог отыскать меня. Из окна маленького кафе на станции, откуда я пишу, я вижу сквозь деревья домик, где у нас с тобой были такие хорошие и такие ужасные минуты и вижу записку, приклеенную на дверь и приглашающую новых жильцов... Вот ты и свободен, ты никогда не услышишь больше моего имени... Прости; последний поцелуй, в шею... мой любимый...»